
А.М. Марченко

Анна Андреевна Ахматова (1889–1966)

Часть первая ПРЕДЫСТОРИЯ.....	2
«Мне дали имя при крещенье — Анна»	2
«Гимназист с гимназисткою — Дафнис и Хлоя»	5
«И кто-то «Цусима!» сказал в телефон»	7
«Сколько печали в пути...»	10
Часть вторая СЛАВА.....	13
«Я на солнечном восходе про любовь пою»	13
«А я не могу взлететь...»	17
«Одною песней больше будет»	18
«Проснуться знаменитым»	22
«Там этот человек стоит...»	24
«Железный шаг войны»	29
«Все обещало мне его...»	33
«Нет, царевич, я не та...»	35
«Не бывать тебе в живых»	38
Часть третья ДРУГАЯ ЖИЗНЬ.....	42
«От тебя я сердце скрыла»	42
«И не проси у Бога ничего»	45
«Мне он единственный сын...»	47
«Звезды смерти стояли над нами»	49
«На позорном помосте беды»	52
«Как в беспамятном жили страхе...»	56
Эпилог ПЛОДОНОСНАЯ ОСЕНЬ	58

Часть первая ПРЕДЫСТОРИЯ

«Мне дали имя при крещенье — Анна»

Анна Андреевна Горенко, по первому мужу Гумилева, псевдоним: Анна Ахматова, родилась 11 (23) июня 1889, в дачном предместье Одессы, в семье потомственного моряка инженер-капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко. Андрей Антонович был человеком незаурядным. Умен, высок, статен, хорош собой, он смолоду легко и быстро продвигался по служебной лестнице. Уже в чине лейтенанта флота состоял преподавателем морских юнкерских классов в Николаеве, активно сотрудничал в прогрессивной газете «Николаевский вестник». В южной провинции честолюбивый молодой человек не задержался, его перевели в Петербург преподавателем паровой механики в Морской кадетский корпус. Некоторое время Андрей Горенко был даже инспектором корпуса, и вдруг карьера его застопорилась. В 1880 при обыске у одного из чиновников города Николаева были обнаружены «вредного направления» письма Андрея Антоновича. Порывшись в биографии блестящего офицера, шишки сыска выявили еще и порочащие репутацию родственные связи: родные сестры инспектора, Анна и Евгения, участвовали в народовольческом движении. Завели «дело» о политической неблагонадежности. В ситуации 1881 после убийства Александра II достаточно серьезное. До суда все-таки не дошло, но от преподавания Горенко отстранили и из Петербурга удалили — отправили как бы в южную ссылку, определив «в качестве флотского офицера на суда Черноморского флота». В период изгнания, на переломе судьбы, в него, видимо, и влюбилась дочь состоятельного тверского помещика Стогова. К моменту встречи с Андреем Антоновичем Инна Эразмовна была уже не девицей на выданье, а молодой вдовой: ее первый муж покончил с собой при обстоятельствах, о которых семейная хроника умалчивает. Не любила разговоров на эту щекотливую тему и Анна Андреевна, лишь однажды как бы между прочим отметила, что огромного Державина, с которого началась для нее золотая русская классика, подарил матери «прежний» муж. Второй домашней книгой детей Горенко был «Мороз, Красный нос» Некрасова. Этими двумя томами детская библиотека Ахматовой исчерпывалась.

Более опрометчивого выбора младшая из шести дочерей Эразма Ивановича Стогова, бестужевка и народоволка, сделать, кажется, не могла: герой ее сердца любил нарядных, легких, артистичных женщин. Он вообще любил женщин и не видел ничего зазорного в том, чтобы срывать невинные цветы удовольствия со всех красиво оформленных клумб. В отличие от него воспитанная в строгих правилах, без матери, которой лишилась в младенчестве, Инна Эразмовна, уже будучи курсисткой, даже пудру стирала с лица, если предстояла встреча с отцом. Она и потом, став супругой Андрея Антоновича, ни наряжаться-фуфыриться, ни к лицу одеваться не научилась. Бонвиван Горенко все это конечно же видел и не одобрял. Однако Инна Эразмовна была на редкость добра и недурна собой: ярко-синие глаза и ослепительно-нежный, фарфоровый цвет лица при тяжелых темных волосах, изящного сложения, без претензий, к тому же — со средствами: 80 тысяч приданого, сумма по тем временам солидная. А главное — старинной дворянской фамилии, что для внука причерноморского казака и сына флотского капитана, получившего дворянство по выслуге лет, было обстоятельством немаловажным. Короче, полуопальный Горенко подумал-подумал да и женился. И сразу же пошли дети: Андрей, Инна, Анна, Ирина, Ия, Виктор. И все как на подбор, и те, что в мать, и те, что в отца, — красивые. Анна в ранние годы походила на мать, и безрассудная доброта перешла к ней по материнской линии. Время молодости своих родителей Ахматова описала в первой части цикла «Северные элегии»:

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
 Ореховые рамы у зеркал,
 Каренинской красою изумленных,
 И в коридорах узких те обои,
 Которыми мы любовались в детстве,
 Под желтой керосиновой лампой,
 И тот же плюш на креслах...
 Все разночинно, наспех, как-нибудь...
 Отцы и деды непонятны. Земли
 Заложены. и в Бадене — рулетка.

И женщина с прозрачными глазами
 (Такой глубокой синевы, что море
 Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
 С редчайшим именем и белой ручкой,
 И добротой, которую в наследство
 Я от нее как будто получила,
 Ненужный дар моей жестокой жизни...

От матери же досталась Анне Андреевне и ее легендарная непрактичность. Впрочем, и непрактичность Инны Эразмовны переходила все мыслимые границы. Умелые и жизнеспособные золовки втайне считали беспомощность супруги брата неприличной, смахивающей на душевное или умственное расстройство. Крайне удивляла бесхозяйственность госпожи Горенко и многочисленных светских знакомых ее красивого мужа, особенно тогда, когда опала Андрея Антоновича кончилась, служебное положение поправилось (по возвращении в Петербург отец Ахматовой, выйдя в отставку, стал членом Государственного Совета по управлению торговым мореходством, и некоторое время в его ведении находились все южные порты империи) и семья обосновалась в Царском Селе. Одна из тогдашних его симпатий вспоминала впоследствии:

«Странная это была семья... Куча детей. Мать, богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом, может быть, ни о чем. В доме беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а порядка нет. Гувернантки делали что хотят. Хозяйка бродит как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место — сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. а жена с удивлением смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится».

Анна, в детстве сильно привязанная к отцу, в отрочестве была целиком на стороне матери. Первая жена ее младшего брата Ханна Вульфовна, прожившая со свекровью несколько лет под одной крышей, запомнила, что Инна Эразмовна много рассказывала о муже, но воспоминания эти были «проникнуты горечью из-за того, что он промотал все ее приданое в 80 тыс., а когда оставил семью, то присылал весьма скромную сумму».

Словом, удивительно не то, что опрометчивый брак Андрея Горенко и Инны Стоговой в конце концов (в 1905) распался (Андрей Антонович, едва дети стали подрастать, официально развелся с женой, соединившись с женщиной, с которой был связан чуть ли не четверть века), а то, что брачные их отношения растянулись на столько несчастных лет.

Самое же мрачное было в том, что дети, рожденные в этом браке, словно не старались, не хотели жить!.. Анне, едва стала сознавать себя, всерьез казалось, что в их обездоленном доме жизнью управляет смерть. Первым потрясением был уход из жизни четырехлетней Рики. А через девять лет умерла от чахотки замужняя сестра — Инна. В юности сестры уже не дружили, но в детстве, несмотря на пять лет разницы и несходство характеров и интересов, были все-таки близки. В 1920, после смерти ребенка, отравился морфием старший, любимый, брат Ани — Андрей. Последней (1922) умерла младшая, Ия, и тоже от туберкулеза. В неразберихе Гражданской войны пропал и «последыш» — Виктор. Через несколько лет он, правда, нашелся — на краю света, на Дальнем Востоке, и даже вызвал к себе оставшуюся без средств к существованию и совершенно раздавленную непрерывностью утрат мать. Но Анна Андреевна, проведив младшего

брата на войну в 1916, никогда уже с ним не увиделась. После смерти матери (1930) Виктор каким-то фантастическим способом, кажется через Харбин, перебрался в Америку. Первую весть от него Анна Андреевна получила только после того, как в «железном занавесе», с наступлением хрущевской весны, появились почтовые щели. Но это все в будущем. А пока растрескавшееся семейное суденышко кое-как держится на волнах моря житейского.

Анна учится в Царскосельской гимназии, без особой охоты, еле-еле, но учится. Чем старше она становится, тем заметнее: кое-что перепало ей и от отца — жадность к жизни, высокий рост, осанка; про осанку Андрея Антоновича говорили: важная, про осанку его дочери, когда она станет Анной Ахматовой, будут говорить: царственная. А главное, четкий, конструктивный ум — даже в старости Анна Андреевна будет удивлять людей своего окружения умением находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. А вот неистребимой отцовской жизнерадостности, увы, не унаследовала. Потому и фамильная жадность к жизни принимала у дочери Андрея Антоновича вид странной, почти угрюмой в отрочестве, печальной алчбы — неутолимой жажды найти и увидеть то, чего нет на свете, — в первой юности.

Эта детская сосредоточенность тем больше удивляла, что до семи лет Аня Горенко не только не читала книг, но и вообще не умела и не пыталась читать, что, впрочем, по понятиям конца века считалось нормальным и вполне педагогичным. Зато уж как выучилась, перепрыгнув различие слова по слогам, сразу стала читать бегло, и не что-нибудь, а романы Тургенева и вообще все, что читали старшие родственницы — тетки и кузины киевские, одесские, севастопольские.

Переехав вскоре после рождения Анны (1890) с юга на север и обосновавшись в Царском Селе, Горенки на лето всей семьей возвращались к Черному морю, под Севастополь. Ахматову обычно считают типичной петербуржанкой, ссылаясь на ее популярное стихотворение 1929: «Тот город, мной любимый с детства...». На самом деле первое петербургское, да и то временное, жилье появилось в ее жизни только в 1912; в детстве в городе она бывала редко, лишь тогда, когда отец брал ее с собой в театр или водил по выставкам. Она выросла хоть и недалеко от столицы, однако в глубоко провинциальной, «узорной тишине» дачного предместья. Столь же тихими и провинциальными, не похожими на людные курорты Южно-Крымского побережья, были в годы ее детства, отрочества, первой юности окрестности Севастополя и Одессы.

Моря и вообще воды — речной, морской, озерной, всякой — дочь коренного севастопольца и внука причерноморского казака ничуть не боялась и даже убедила себя: потому не боится, что родилась под Аграфену-Купальницу. По народному, еще дохристианскому Месяцеслову с 23 июня на Руси начинали не только купаться, но и, как метко сказано у Даля, «закупываться». Правда, Купальница праздновалась 23 июня не по новому, а по старому стилю, то есть формально спустя двенадцать дней после рождения Анны Горенко. Ошиблась ли Анна Андреевна или слукавила, не так уж и важно, важнее то, что всяческую воду она, как и маленькая героиня ее южной поэмы «У самого моря», воспринимала как родную стихию, поражая и сверстников, и взрослых необычайным, как бы врожденным умением плавать и нырять с лодки, и не у берега, а в открытом море, за что и получила прозвище «дикая девочка» («что-то среднее между русалкой и щукой».) Вот как об этом рассказала сама «русалка», когда поняла, что ей легче говорить и с людьми, и с собой стихами (в стихах Ахматова и откровенней, и точней):

Мне больше ног моих не надо,
Пусть превратятся в рыбий хвост!
Плыву, и радостна прохлада,
Белеет тускло дальний мост.

Однако при всей ее, как бы сейчас сказали, спортивности, у «дикой девочки» долго, лет до пятнадцати, бывали странные приступы лунатизма. Он вставала ночью, уходила,

в бессознательном состоянии, на лунный свет. Отыскивал ее отец и приносил на руках домой. Андрей Антонович любил хорошие сигары, папирос, входящих в широкое употребление, не признавал. Этот отцовский запах — запах дорогой сигары с тех пор навсегда соединился с лунным светом... Старая нянька твердила барыне: вся беда оттого, что в комнате, где спит девочка, забыли занавесить окно. Окно зашторили, но Анна тайком, дождавшись явления луны, занавески раздергивала, ей нравилось следить за игрой лунных лучей с вещами и предметами ее спальни:

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.
Сегодня я с утра молчу,
А сердце — пополам.
На рукомыльнике моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть...

...Сердце Ани Горенко и впрямь разрывалось пополам. Между любовью-жалостью к матери и ревностью к отцу, к его скрытой от детей и жены жизни в ином, чем их бедный безалаберный дом, праздничном мире, где были красивые женщины, рестораны, постоянный абонемент (половина ложи!) в Мариинский театр, и полы в светлых и теплых комнатах — целые, не такие, как у них, не щелястые. Крестная предполагала: в щель-то и замели, не заметив, крестильный Аничкин крестик. Крестика было жаль до слез, но она не плакала. Мать, у которой глаза всегда на мокром месте, с недоумением приглядывалась к самой непонятной из своих дочерей...

В десять лет Анна заболела корью, да такой тяжелой, с бредом и судорогами, что все решили: и эта — не жилица, и эта уйдет, вслед за Рикой. Но она выжила. Худая, голенастая, остриженная наголо — гадкий утенок да и только. От хождения в «бурсу» — так Анна называла свою первую Царскосельскую гимназию — ее освободили: пусть, мол, пропустит год, здоровье дороже. Но и купаться не разрешили: корь дала осложнение на уши. Чтобы утешиться, она научилась развлекать себя: самой лучшей игрой был «китайский чай». Бросишь в банку с водой такую чайнку, и там появляются таинственно-яркие подводные цветы, а среди цветов зевсова рыба, плоская и с синим всевидящим оком. И вдруг все-все надоело: и переводные картинки, и «китайский чай» с водяными сюрпризами. Ей было одиннадцать, когда она написала первое стихотворение.

«Гимназист с гимназисткою — Дафнис и Хлоя»

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь
С моими детскими стихами.

«Синяя тетрадь» осталась только в стихах Анны Ахматовой. Детские свои сочинения она уничтожила. «Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность...» Из всех посвященных ей стихов Анна Андреевна выделяла именно эти: Борис Пастернак назвал по имени то, что интуитивно всю творческую жизнь делала она сама — подбирала слова, похожие на свою первозданность. Даже тогда подбирала, когда и слова-то такого — первозданность — не знала. Потому и сожгла синюю тетрадь — с твердой уверенностью, что стихи, вписанные туда ее рукой, ужасным почерком, сочинены не ею, а какой-то другой, пустой и капризной девочкой, а она, Анна, — не то, за что эти ничтожные стихи ее выдают, ведь у нее, в отличие от присвоившей ее имя царскосельской барышни, воображающей себя «декадентской поэтессой», «есть еще какое-то тайное существование и цель». Тетрадь-то сожгла, а писать все-таки продолжала, точнее, записывать с внутреннего голоса; она и чужие стихи, напечатанные в книгах, не видела, а слышала, и воспринимала лучше на слух.

Правильные, похожие на ее первозданность слова не подбирались еще и потому, что поэты, которых проходили в «бурсе», были скучными: слишком серьезно относились они к чему-то такому, что не имело никакого отношения к ее тайному существованию. А те, что печатались в «Ниве», единственном журнале, который от случая к случаю приносил отец, писали почти так же плохо, как и она сама.

Когда начинало звучать внутри, Анна переставала разговаривать — «сегодня я с утра молчу». А про то, что выходило из молчания, знала одна Валя-Валечка — Валерия Тюльпанова, подруга, почти сестра, больше, чем родные сестры. Но и Валечка в собеседники не годилась: со всем соглашалась, всем восхищалась, мурлыкала как котенок, сияла милыми, преданными глазами, заучивала наизусть, старательно — она все делала старательно — переписывала стихи в альбом, про самые неудачные ахала: «Гениально!» — и ничегошеньки не понимала. Ни в гениальности, ни в стихах.

Анна попробовала было сунуться со своими проблемами к брату Андрею, но тот отмахнулся. Ласково, шутливо, но отмахнулся, вникать не стал, дескать, «наша Аничка удивительно умеет совмещать бесполезное с неприятным!». Обиделась, но не очень. У Андрея своих проблем хватало: он так часто болел, что пришлось уйти из гимназии и сдавать курс экстерном.

В старших классах гимназии Аня Горенко, даже в мелочах, заметно отличалась от остальных гимназисток. Ее одноклассница (по выпускному классу Киевской гимназии) запомнила, что у Горенко была какая-то другая форма, не такая, как у всех: из мягкой и дорогой ткани, и покроем особый, не стандартный, и сидело не мешком, а как влитое, да и цвет не коричнево-школьный, а густо-шоколадный, приятного оттенка, как раз такой, чтобы при ее бледности и серо-зеленых бархатных глазах «личил», а не «убивал». А однажды произошел какой случай. На урок рукоделия велено было принести отрез на ночную рубашку. Весь класс приносит скромный коленкор, а фасоня Горенко — прозрачный батист-линон да еще и «развратного» нежно-розового цвета. Учительница в смущении: «Это неприлично!» Ответ ученицы Горенко еще неприличнее, чем ее батист: «Вам — может быть, а мне нисколько». Происшествие замаяли. Однако по рукоделию все-таки не аттестовали. Впрочем, не только по рукоделию. Как свидетельствует аттестат, дочь Статского Советника девица Анна не ходила и на уроки танцев. Она и в детстве не пробовала танцевать, хотя ничуть не стесняясь могла заявить малознакомому человеку: «Посмотрите, какая я гибкая» — и через мгновение ноги ее соприкасались с головой. Восхищенный сказочной гибкостью дочери, отец хотел было записать ее в балетную школу, но Анна наотрез отказалась.

Однажды под Рождество, вспоминала Валерия Тюльпанова, по мужу Срезневская, «мы вышли из дому — Аня и я с моим братом Сережей — прикупить какие-то милые украшения для елки. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с «мальчиками Гумилевыми», Митей (старшим, тогда морским кадетиком) и Колей-гимназистом... Встретив их на улице, мы уже дальше пошли — я с Митей, Аня с Колей за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно, — он не имел никаких достоинств в моих глазах. Но, очевидно, не так отнесся Николай Степанович к этой встрече. Я часто, возвращаясь из гимназии, видела, как он маячил вдали в ожидании появления Ани». Валя-Валечка и права и не права: в сероглазого, высокого, высокомерного «с виду» и очень неуверенного в себе гимназиста ее Аня, конечно же, «не влюбилась», влюбленностей от единственной подруги «до гробовой доски» Анна Андреевна не скрывала. А вот то, что встреча с младшим из мальчиков Гумилевых ее все-таки заинтересовала, утаила. Потом — проговорилась, но Валерия Сергеевна этого почему-то не заметила...

В ремешках пенал и книги были,
Возвращалась я домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.

Ничего не забыла и Аня Горенко: ни лип в морозном серебре, ни алмазную, первую их зиму, и самый важный в 1903 году день — под Рождество («24 декабря познакомилась с Н.С. Гумилевым в Царском Селе») тоже запомнила на всю жизнь как незабвенную дату. Коля Гумилев, чопорный и немного деревянный гимназист, уже тогда, в семнадцать мальчишеских лет, был поэт, к тому же символист, выбравший в учителя — Коля называл его «мэтр» — Валерия Брюсова. (Вспоминая тогдашнего Гумилева, Ахматова скажет: «Он поверил в символизм как в Бога».) Через несколько дней брюсовский очередной шедевр «Tertia Vigilia» уже лежал у нее под подушкой. Анна книжку прочла с интересом. Нашла там, кстати, и идеал, на который равнялся, с которого, кажется, делал себя ее первый — и пока единственный — поклонник:

Да, я — моряк! Искатель островов,
Скиталец дерзкий в неоглядном море.
Я жажду новых стран, иных цветов,
Наречий странных, чуждых плоскогорий.

Куда больше радости доставил Ане следующий Колин подарок: торжественно врученный томик Блока — «Стихи о Прекрасной Даме». Чтобы не расставаться на целых полдня с Прекрасной Дамой и ее рыцарем, она взяла сборничек в «бурсу». Ясно и честно смотрела в глаза madame (на уроках французского ученицу Горенко оставляли в покое: по французскому она шла первым номером — ах, какое произношение, словно вы, Горенко, родились в Париже!), а внутри звучало:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне — и ясен нестерпимо,
И молча жду, — тоскуя и любя.

На перемене к ее парте подошла первая ученица, рыжая веснушчатая толстуха, взяла книгу, полистала и фыркнула: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца?»

«И кто-то «Цусима!» сказал в телефон»

Алмазная зима 1903, последняя зима детства, еще и потому так запомнилась Ане Горенко, что была последней перед японской войной. Весной 1904 все столичные газеты крупным шрифтом на первой полосе опубликовали экстренное сообщение: «31 марта броненосец “Петропавловск” наткнулся на японскую мину и в полторы минуты затонул. Находившиеся на борту адмирал С.О. Макаров и знаменитый художник В.В. Верещагин вместе с семьями офицерами и матросами погибли».

Спустя двадцать два года Павел Лукницкий, автор замечательного двухтомника «Встречи с Анной Ахматовой», сделал в дневнике такую запись: «Вечером в семь часов собиралась пойти со мной в Цусимскую церковь, чтобы показать ее мне...», а в 1965, составляя конспект для расширенной автобиографии, незадолго до последнего инфаркта, Анна Андреевна как самостоятельный сюжет обозначила все ту же «незабвенную дату» — «год Цусимы»: «Потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное».

Страшное, видимо, еще и потому, что у жертв первой ее войны было два прекрасных человеческих лика: художника Верещагина и адмирала Макарова. О Степане Осиповиче Макарове, коменданте Кронштадтского порта, с одинаковым восхищением говорили и отец Анны, и ее новый друг Коля Гумилев, очень гордившийся тем, что родился в Кронштадте. Коля и потом продолжал туда ездить, однажды и ее уговорил — навещали дядюшку и крестного Колиного отца контр-адмирала Льва Ивановича Львова. Лев Иванович был холост, столовался в береговой кают-компании; крестник, как только они заходили в Морское собрание перекусить, обалдевал, как если бы оказывался в пещере Аладдина: по стенам аванзала — чуть ли не полное собрание картин Айвазовского, а гостиные все в разном стиле: китайская, индийская, африканская,

декорированные дарами моряков, побывавших в далеких экзотических странах. и как только у Коли появилась своя комната, он, к ужасу матери, превратил ее чуть ли не в морское дно: выкрасил стены под цвет морской волны, на стенах попросил приятеля нарисовать русалок, разных морских чудовищ, а посреди комнаты устроил фонтан, обложив его диковинными раковинами и камнями. Он и позднее, уже будучи взрослым, разукрашивал свои «ателье» по образцу экзотических гостиных кронштадтской кают-компания.

Весь Кронштадт провожал Макарова на войну. Адмирал, назначенный командующим Тихоокеанским флотом, забрал около 500 человек рабочих — корабельных дел мастеров, объяснив журналистам, что везет с собой золото и что без них воевать нельзя. Да и в их семье, как только заходила речь об адмирале Макарове, мать, поправляя пенсне, встревала: дескать, Степан Осипович — не просто военный моряк и флотоводец, а еще и полярик, как и мой дед, а твой, Анна, прадед — Стогов.

Ужасом отозвалась и смерть Верещагина. Аня видела его будучи восьмилетним ребенком, когда художник отдыхал под Севастополем, около Георгиевского монастыря. Правда, тогда сам Верещагин ее не очень-то интересовал; с куда большим любопытством она разглядывала его молодую и нарядную жену, а еще ревнивей следила за их детьми. Уж очень чудно были одеты, и мальчик, и девочка, вроде бы просто, а не так, как наряжали отпрысков царскосельские и севастопольские богатеи. И что же, теперь и та красивая дама — вдова, а те дети — сироты?

Осенью 1904 в Обществе поощрения художеств открылась посмертная выставка Верещагина. На ней побывал весь Петербург. Не отставали от петербуржцев и царскоселы. Помимо шока, какой вызвала гибель «Петропавловска», публику привлекала необычность экспозиционного декора.

По желанию вдовы залы были оформлены так, как это делал сам художник, выставляя картины за рубежом: стены задрапированы бархатом темного бордо — чтобы лучше смотрелись и холсты в золотых рамах, и предметы этнографических коллекций, которые Верещагин привозил из экзотических путешествий: восточные ковры, оружие, украшения, амулеты, ткани, утварь... Была воспроизведена в мельчайших подробностях и обстановка московской мастерской художника в усадьбе за Серпуховской заставой, о которой ходило столько слухов. При жизни художника вход сюда посторонним, даже великому князю Владимиру Александровичу Романову, Президенту Академии художеств, был строго воспрещен.

Интерес публики подогревал и ажиотаж зарубежных коллекционеров: экспонировалось 426 работ, аукцион обещал миллионы, но вдова, помня, как огорчился муж, когда лучшие вещи уходили за границу, продала их за гроши Придворному ведомству — в «казну»; денег от продажи еле-еле хватило на покрытие выставочных расходов.

Даже в царскосельской «бурсе» шли толки о шикарной выставке. Жалели сирот, оставшихся без средств к существованию. Анну разговоры о миллионе не трогали, она думала о другом, о том, что волшебного, сказочно красивого ДОМА, где так счастливо жили тот мальчик и та девочка, нет и никогда не будет, он так же, как картины и коллекции их отца, продан чужим людям.

Анна потому так лично и страстно сочувствовала сиротам Верещагиным, что и у нее отнимали дом ее детства: в ту самую осень купчиха Шухардина, домовладелица, заявила жильцам Горенко, чтобы сыскали к весне другое помещение, потому как дом она вздумала продать. Это был бедный и совсем не красивый ветхий дом, бывший трактир, в полуподвалах — мелочная лавка и зловонная сапожная мастерская. Но это был *ее* дом, зимой его заносило снегом, зато летом дворик буйно зарастал репейником, из которого так ловко было лепить корзиночки... Анна сразу почуяла: быть беде. Так и случилось: едва переехали, прибежал Сережа фон Штейн, муж Инны, он только что говорил с врачом жены: надежды нет... Не помня себя от нового горя, мать проговорила: Андрей Антонович попросил у нее развода, и она согласилась.

Анна замолчала. Ни брат Андрей, ни Валя Тюльпанова не могли ее разговорить, а Колю Гумилева она избегала. Но он все-таки ее находил, нарочно подружился с ее старшим братом, ради нее уговорил родителей устроить на Пасху домашний бал... а в самом начале лета выследил, подкараулил в парке, выскочил из кустов, оживленный, веселый, и говорил, говорил... О Париже, в который поедет, как только кончит гимназию. Об Африке... О сборнике своих стихов, для которого уже и название придумал, а деньги на издание дает мать... и вдруг сделался прежним — торжественным, взял за руку, повел к своему вечному дубу и... сделал ей чопорное, словно героине романа, предложение: «Я прошу Вас, Анна...» — и тут она заговорила: его женой? Да как он смеет? У него и так есть все: и свой дом, и отец, и у него никогда никто не умирал... Париж... Африка... какая Африка, когда столько горя... Стреляют, вешают, бросают бомбы! Путешествовать хорошо, если в душе — тишина, а когда взрывают, следует сидеть на месте, забиться в угол и замереть... чтобы все забыли, что ты — есть.

Он повернулся и ушел. Не сказал ни единого слова. Мгновение назад она ненавидела его — сопляк, начитавшийся Ницше, а сейчас ненавидела себя: черная, злая, вздорная... и если бы он обернулся... Но он не обернулся. В год гибели, перед самым арестом, в стихотворении «Мои читатели» Николай Гумилев вспомнит первую свою беду и обиду: они определили стиль его поведения и в жизни, и в творчестве:

Много их, сильных, злых и веселых,

 Верных нашей планете,
 Сильной, веселой и злой,
 Возят мои стихи в седельной сумке,
 Читают их в пальмовой роще.
 Забывают на тонущем корабле.
 Я не оскорбляю их неврастением,
 Не унижаю душевной теплотой,
 Не надоедаю многозначительными намеками
 На содержимое выеденного яйца.
 Но когда кругом свищут пули,
 Когда волны ломают борта,
 Я учу их, как не бояться.
 Не бояться и делать что надо.
 И когда женщина с прекрасным лицом,
 Единственно дорогим во всей Вселенной,
 Скажет: я не люблю вас, —
 Я учу их, как улыбнуться,
 И уйти, и не возвращаться больше.

Никогда не забудет своей первой женской вины и бессмысленной, безответственной жестокости и Анна Ахматова. В «Поэме без героя», начатой в сороковом году, в возрасте, какой столь почитаемый ею Данте называл серединой дороги жизни, она, вспоминая себя в юности, скажет сурово, просто, бесслезно: «С той, какую была когда-то... снова встретиться не хочу».

11 июня 1905 ей исполнилось 16 лет.

15 июля умерла сестра Инна.

1 августа, проводив мать и малышей в Киев, Анна и Андрей уехали к родственникам в Евпаторию. Ехали долго, почтовым, сэкономили деньги, Андрей пытался утешать: вот кончат гимназию, начнут зарабатывать, купят свой дом и опять соберутся все вместе. Как в Царском. И даже лампу отыщут такую, как была в детстве, керосиновую, а не масляную. И кажется, верил в то, что говорил. Но она-то знала: и рассеяние, и бездомность навсегда. А это было как дышать одним легким. Она все про себя знала наперед.

«Сколько печали в пути...»

Мы мало, почти ничего, не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю; целое пятилетие — с августа 1905 по апрель 1910 — покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой события. Так, например, судя по намекам мемуаристов, впрочем, глухим и уклончивым, Анна пыталась «наложить на себя руки». А что толкнуло ее на такой странный при ее жизнелюбии шаг? Неизвестно. Уничтожены, как уже упоминалось, стихи смутных кризисных лет. Сожжена и многолетняя — с 1906 по 1910 — переписка с Гумилевым.

В мае 1906, получив аттестат зрелости и издав на средства родителей сборник «Путь конквистадоров», Николай Степанович, как и было задумано, уехал в Париж, и надолго, по его плану — не менее чем на пять лет. Однако перед отъездом успел повидаться со старшим братом Анны Андреем. О чем говорили молодые люди и возникало ли в беседе имя Примаверы (под этим именем Анна представлена в ранней прозе Гумилева), мы также не знаем, но, видимо, Андрей Горенко, вернувшись в Евпаторию, все-таки посоветовал сестре сделать шаг к примирению. Гумилев ее письму, первому после отказа и объяснения летом 1905 в Царскосельском парке, обрадовался, началась переписка. Но в Россию он вернулся только через год — в мае 1907, да и то не по сердечной надобности, а для отбывания воинской повинности. Правда, по дороге заехал в Киев, где у своей двоюродной сестры Марии Александровны Змунчиллы жила теперь Анна. Отношений на этот раз они, кажется, не выясняли, Гумилев спешил: надлежало еще заехать в Москву и нанести торжественный визит Брюсову, с которым все эти годы обменивался литературными соображениями, а главное, поспеть по месту прописки в Царское Село, чтобы пройти военно-медицинскую комиссию. Договорились, что встретятся осенью в Севастополе.

Получив вольную (был признан «неспособным к армейской службе по причине врожденного астигматизма глаз»), Гумилев вернулся к *ней*, снова сделал предложение и снова получил отказ, правда, не такой резкий и грубо-язвительный, как в Царском. И вернулся в Париж. Переписка возобновилась: Гумилев в письмах делал предложения — руки и сердца, Анна то принимала их, то отказывала. Не выдержав неопределенности, Гумилев, заняв денег у ростовщика, поехал к *ней*: или *да*, или *нет*. Анна сказала: *нет*.

Через двадцать лет, поведав историю первого своего замужества Лукницкому (тот собирал материалы для биографии Гумилева), Анна Андреевна назовет этот отказ окончательным («так продолжалось до 1908 г., когда, приехав к АА, получил окончательный отказ...»). И хотя, как мы знаем, окончательным он не стал — через год с небольшим Аня Горенко стала женой Николая Гумилева, — и Ахматова не оговорила, и Лукницкий не ослышался: *тому* Коле, каким она знала его по Царскому Селу, *та* Аня и впрямь отказала окончательно. И всерьез. Не кокетничая, не играя роль жестокой царицы, не прикидываясь капризным ребенком. О том, как это было, мы можем составить некоторое представление, вчитавшись в ее стихотворение «Протертый коврик под иконой...». Конечно, это не зарисовка с натуры и не дневниковая замета, и тем не менее характер сложившихся отношений изображен, именно изображен, а не назван, на редкость откровенно. Видимо, поэтому Анна Андреевна и не называла «Протертый коврик...» среди вещей, явно посвященных Гумилеву:

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пальцы...
 Твой профиль тонок и жесток.
 Ты зацелованные пальцы
 Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
 Такая в нем теперь тоска...
 И в косах спутанных таится
 Чуть слышный запах табака.

Из бедной этой — «наемной» комнаты вышел, шатаясь, чтобы не возвращаться больше, нелепый и нескладный гимназист, автор осмеянного критикой «Пути конквистадоров», золотой рыцарь, трогательно влюбленный в деву луны. Он покончит с собой в Париже осенью 1908, а тот Гумилев, которого случайно подобрали в Булонском лесу без сознания валяющимся в глубоком рву старинного крепостного сооружения и чудом возвратили к жизни, был совсем другим, решительно не похожим ни на отчаявшегося бродягу, за которого принял подобранного самоубийцу парковый служитель, ни на «мальчика веселого», помогавшего Ане Горенко выбирать елочные игрушки в алмазный Сочельник 1903. В знаменитом стихотворении Гумилева «Память» есть такие строки:

Только змеи сбрасывают кожу,
 Чтоб душа старела и росла.
 Мы, увы, со змеями не схожи,
 Мы меняем души, не тела.

Что-то похожее произошло с Николаем Гумилевым в 1908. Несмотря на абсолютное безденежье, он добрался-таки до Египта и даже искупался в Ниле. Возвращение к жизни после попытки самоубийства и Африка, которая виделась рыцарю жестокой Примаверы чем-то вроде исполинской груши, висящей на древе древней Евразии и превращающей отроков в мужей дерзостных, преобразили Гумилева. Вернувшись в Петербург, Николай Степанович очень скоро оказался в самом центре литературной жизни столицы, удивляя не только ровесников, но и более опытных литераторов независимостью суждений и каким-то «самоуверенным мужеством». В нем вдруг обнаружился и организаторский талант, и признаки литературного лидера. Да и стихи становились все крепче и оригинальнее: то, что еще недавно считали рабским подражанием Брюсову, оказалось резко обозначившейся индивидуальностью, производящей сильное впечатление:

Уверенную строгость береги,
 Твой стих не должен ни порхать, ни биться.
 Хотя у музы легкие шаги,
 Она богиня, а не танцовщица.

В том же переломном 1908 появились «Романтические цветы»; критика отнеслась ко второй книге Гумилева более снисходительно, а Валерий Брюсов почти похвалил. Полоса отчуждения и непризнанности вроде бы кончалась.

Все, даже Анна и Андрей Горенко, иронизировали над попытками Гумилева издавать журнал: русский журнал в Париже — кому он нужен, если нет ни денег, ни авторов? Ни денег, ни авторов у главного и единственного редактора журнала «Сириус» Николая Гумилева не было, если не считать Ани Горенко, именно в «Сириусе» впервые напечатавшейся (стихотворение «На руке его много блестящих колец...»). Денег не было, но идеи были: Гумилев словно родился, чтобы стать человеком журнала; он даже книги читал по-особому — одновременно несколько, как бы складывая журнальную композицию. Это благодаря его энергии и воле так быстро взошла звезда одного из самых замечательных изданий серебряного века — журнала «Аполлон».

В январе 1909 «Аполлон» — еще только идея, и притом смутная, а в октябре уже вышел первый номер. На презентации в столичном ресторане «Pirato» собрался весь литературный и артистический бомонд. В ноябре, возглавив группу разочаровавшихся

в символизме молодых поэтов (в их числе Алексей Толстой, в ту пору стихотворец, и Михаил Кузмин), Гумилев появился в Киеве.

Небывалая осень построила купол высокий,
 Был приказ облакам этот купол собой не темнить.

.....
 Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
 И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
 Что казалось — сейчас забелеет прозрачный подснежник...
 Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

И эти стихи Анна Ахматова не называла среди относящихся к Гумилеву. Ей вообще не нравилось, когда критики и читатели воспринимали ее поэзию узко биографически, и она неоднократно напоминала, что за редкими исключениями «делает несколько снимков на одну пластинку». К тому же в 20-х годах, да и позднее, сознательно ставила и неправильные даты, и «мнимые» посвящения (чтобы ввести в заблуждение бдительную советскую цензуру). Даже от Лукницкого, хотя была с ним достаточно откровенна, скрыла из осторожности, что стихотворение «Не бывать тебе в живых...» написано на смерть Николая Гумилева. Не буквальное описание конкретной встречи лирической героини со своим «суженым» и процитированное стихотворение. Однако, по свидетельствам очевидцев, Гумилев, явившийся из почти зимнего Петербурга в еще ослепительно солнечный Киев, и в самом деле держался как захвативший столицу мятежник — спокойно и победительно. Уверенный, что теперь-то Анна не сможет ему отказать.

И она сдалась: в самом конце ноября 1909 Николай Степанович уехал в Африку уже женихом. Так и не заметив в спешке, что девушка, принявшая наконец-то его предложение, тоже, как и он, переменяла душу. Точнее, переменялась душой. Она наконец-то узнала, что такое любовь. Нет, не к своему жениху, как может показаться по внешним приметам ее биографии. Имя этого человека Анна Андреевна не открыла. Никому, кроме Гумилева, и то после развода.

Все, что известно об утаенной южной любви Анны Ахматовой, — короткая запись в дневнике Лукницкого: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было... В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту, и письма так и не получила».

Видимо, в те же годы — годы неудачной первой любви — она, дикая приморская девчонка, язычница, последняя херсонидка, дерзкая и веселая, научилась верить в Бога. Именно научилась, ибо первоначального религиозного воспитания не получила. В семье Горенко, как и во многих интеллигентных семьях предреволюционной поры, отношение к религии было более чем спокойным. Православные праздники, естественно, соблюдались, но скорее бытом, чем церковно, то есть следили за тем, чтобы и к Пасхе, и к Рождеству в доме было вычищено-натерто и стол не хуже, чем у людей. Однако и Ия, которую в семье в шутку называли монашенкой, и Анна, подрастая, наперекор семейной традиции стали проявлять непонятную матери религиозность с некоторым даже налетом экзальтации. Анна Андреевна не любила вспоминать о том, что была воспитанницей Смольного института благородных девиц, а уж о том, почему ее оттуда забрали, — тем более. Однако из других источников известно, что взять ее родителям пришлось из-за того, что девочку нашли лежащей на полу институтской церкви в состоянии обморока. Повторялись ли подобные приступы религиозного экстаза у Ани Горенко в отроческие годы, мы не знаем. Но одна из ее товарок по Киевской гимназии (1907) оставила такое важное свидетельство:

«Киевская весна. Синие сумерки. Над площадью медленно разносится благовест. Хочется зайти в древний храм св. Софии, но ведь я принадлежу к «передовым» и в церковь мне не подобает ходить. Искушение слишком велико... хочется отойти от обыденного. В церкви полумрак. Народу мало... в темном приделе вырисовывается знакомый своеобразный профиль. Это Аня Горенко. Она стоит неподвижно...

Взгляд сосредоточенно устремлен вперед. Она никого не видит, не слышит. Кажется, что она и не дышит... Несколько раз хотела заговорить с ней о встрече в церкви. Но всегда что-то останавливало. Мне казалось, что я невольно подсмотрела чужую тайну...»

По всей вероятности, об этой тайне своей невесты не догадался в 1909 и Гумилев.

Николай Степанович пробыл в стране своей детской мечты недолго, менее двух месяцев. 5 февраля 1910 он уже дома. На следующий день внезапно умер его отец. Степан Яковлевич Гумилев по понятиям тех лет считался стариком, почти на двадцать лет старше энергичной и властной жены, но выглядел куда бодрее и крепче своих 74. Не смея оставить убитую горем мать, Николай Степанович дал телеграмму в Киев. Анна приехала.

Но ни смерть отца, ни приезд невесты, которую не видел несколько месяцев, не изменили рабочего распорядка. Намеченный план соблюдался неукоснительно: университетские лекции, стихи, литературно-критические статьи для «Аполлона», созданная при «Аполлоне» «Академия стиха», множество самых разнообразных литературных знакомств (Гумилев уже чувствует, что в символизме ему и тесно, и «жмет»). Слово «акмеизм» еще не произнесено, но группа единомышленников сколочена и в противовес «Академии стиха» мыслит себя «Цехом поэтов»).

Рядом со столь мощным генератором литературных идей, никогда не отключавшимся, Анна чувствовала себя «бездельницей». К тому же будущая свекровь достаточно резко при ней напомнила сыну, что траурный срок не истек и разговоры о свадьбе неуместны. Невеста вернулась в Киев, внутренне, кажется, готовясь к тому, чтобы отпустить милого друга Колю на свободу. Но он этого ей не позволил. Дождавшись «сигнала» третьего поэтического сборника «Жемчуга» (16 апреля 1910), он тут же умчался в Киев, и 25 апреля в Никольской церкви села Никольская слобода состоялся обряд венчания: Аня Горенко стала госпожой Анной Андреевной Гумилевой. Свадьбу решено было не устраивать по причине траура, зато в качестве свадебного подарка Гумилев преподнес Анне Париж. Киевская кузина Мария Александровна Змунчилла постаралась, чтобы «Аничка не выглядела «провинциалкой», и, кажется, ей это удалось.

Часть вторая СЛАВА

«Я на солнечном восходе про любовь пою»

Как это ни странно, но Париж 1910 не оставил в стихах Ахматовой ни одной значительной приметы. В прозе, в очерке «Амедео Модильяни» (1964), она опишет его так: «То, чем был тогда Париж, уже в начале 20-х годов называлось “vieux Paris” или “Paris avant guerre” (старый Париж или довоенный Париж). Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались “Au rendez-vous des sjchers” (Встреча кучеров), и были еще живы мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом».

Впрочем, одна важная парижская деталь: «И словно тушью нарисован в альбоме старом Булонский лес» — есть и в стихах. Написаны они, правда, позднее, в мае 1913, но Ахматова часто возвращалась в прошлое и вообще охотнее писала по памяти, чем, так сказать, с натуры, давала и чувствам, и впечатлениям превратиться в воспоминание. Кроме того, именно в мае 1913 у нее была уважительная причина вспоминать о Парижском мае 1910 и, главное, о Булонском лесе, где, напомним, Гумилев пытался покончить с собой из-за безнадежной любви к ней, с особым ностальгическим чувством — как о былом «богатстве», которое они общими усилиями промотали: муж опять уехал в Африку. На этот раз вместе с племянником, Колей маленьким, с полным экспедиционным снаряжением, а значит — надолго, бросив не только ее, но и восьмимесячного сына. И уезжал нехорошо — словно убегал. Один из общих знакомых четы Гумилевых вспоминал:

«За день до отъезда Гумилев заболел — сильная головная боль, 40 градусов температуры. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф... На другой день я пришел его навестить... Меня встретила заплаканная Ахматова: “Коля уехал”. За два часа до отхода поезда Гумилев потребовал воды для бритья и платье. Его попробовали успокоить, но не удалось. Он сам побрился, сам уложил то, что осталось не уложенным, выпил стакан чаю с коньяком и уехал».

Но мы немного забежали вперед...

В июне 1910 на обратном пути из Парижа Анна пересела в киевский поезд, а Николай Степанович отправился в Слепнево, тверское имение матери. Некоторые биографы Ахматовой предполагают, что факт этот свидетельствует о взаимных разочарованиях молодоженов, будто бы начавшихся во время свадебного путешествия. Вряд ли это соответствует истине, иначе Анна Андреевна не говорила бы Лукницкому, что в Париже они с Колей были очень близки. О том же свидетельствуют и обращенные к М. Змунчилле стихи. Мария Александровна хорошо относилась к Гумилеву и очень старалась, чтобы брак состоялся. Вот каким запомнила Анна месяц своей свадьбы — апрель отныне и навсегда в ее личном месяцеслове будет считаться приносящим счастье:

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.

Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы...

Думаю, что разлучились на обратном пути из Парижа молодожены Гумилевы по причине достаточно будничной, однако по тем временам немаловажной: Николаю Степановичу надо было как-то загладить перед матерью послушание, объяснить, почему он, не получив на то полагающегося родительского благословения, слишком поспешно женился.

Анна Ивановна Гумилева была человеком разумным: что сделано, то сделано, и ссориться с сыном не стала. Поживем — увидим. Неувязки и неудовольствия, причем взаимные, начались, скорее всего, уже после приезда Анны в Слепнево, и процитированное выше стихотворение, такое лучезарное, похоже, не случайно включено в цикл, который называется «Обман». Видимо, к осени 1910 Анна и Николай Гумилевы стали догадываться, что невольно обманули и друг друга, и самих себя: налицо была психологическая несовместимость. Гумилеву нужно было действовать, он не понимал, как можно устать или отдохнуть. Поставив перед собой цель, нечеловеческим напряжением духовных и физических сил он, проявляя редкостное постоянство воли, стремился к ее достижению. И это касалось не только творческих и судьбоносных проектов, но и самых обыденных затей. Наблюдая, с какой целеустремленностью Николай Степанович, временно оторванный от литературных занятий, без усталости затевал летом в Слепневе театрализованные шоу, Анна почти ужасалась. Наибольшим успехом среди местных крестьян пользовалась созданная молодым слепневским баринем цирковая труппа. Сам Николай Степанович выступал в своем цирке в роли лихого наездника. В программу входили: танцы на канате, хождение колесом; для Ахматовой был поставлен номер *женщина-змея*. Если представление давалось в своем кругу, женщина-змея еще и декламировала сочиненное специально для аттракциона стихотворение «Змея»:

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая,
И холодная, как я.

В. Неведомская, одна из участниц гумилевских шоу, молодая хозяйка соседнего со Слепневым имения, вспоминала:

«Наше Подобино было совсем не похоже на Слепнево. Это было подлинное “дворянское гнездо”... Здесь Гумилев мог развернуться, дать волю своей фантазии. Его стихи и личное обаяние совсем околдовали нас, и ему удалось внести элемент сказочности в нашу жизнь».

К появлению нового лица сложившаяся не за один дачный сезон компания отнеслась, как и следовало ожидать, с предубеждением. Даже внешность жены Гумилева владелица «дворянского гнезда» Подобино оценила как неинтересную: «У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты лица слишком острые, чтобы назвать лицо красивым. Серые глаза без улыбки». А уж манера держаться этой чужачки и тем паче не пришлось ко двору:

«За столом она молчала и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: тоже пишет стихи, все молчит, ходит то в темном ситцевом платье вроде сарафана, то в экстравагантных парижских туалетах».

Свидетельства В. Неведомской недобры и пристрастны. И тем не менее факты есть факты, и вряд ли рыжекудрая дама их выдумала. Анну вроде бы даже устраивала отдельность. Однако то, что в затеянной мужем игре в цирк все-таки участвовала, позволяет предположить, что не так уж легко давалась ее подчеркнуто независимая позиция. Не могло не обижать, хотя обида наверняка и загонялась глубоко в подполье, что муж, увлеченный своими затеями, практически не обращал на нее внимания. А уж о том, чтобы помочь акклиматизироваться в новой обстановке, и речи не было. Судя по всему, по впечатлениям того лета, когда Николай Степанович проделывал головоломные конноспортивные упражнения на необъезженных подобинских лошадях, Анна Андреевна написала следующее четверостишие:

А! Ты думал: я тоже такая,
Что можно забыть меня?
Что я брошусь, моля и рыдая,
Под копыта твоего коня!

Строки эти долго, до 1921, оставались в черновиках, потом вошли в стихотворение, обращенное совсем к другому лицу, но Ахматова не раз говорила, что процитированная строфа написана гораздо раньше и совсем в иных обстоятельствах.

В сентябре, по окончании дачного сезона, Гумилевы вернулись в Царское Село.

Дом, который присмотрела и вскоре купила Анна Ивановна, выбирался с расчетом на долгую жизнь: чтобы был поместительным и удобным; свекровь Анны Андреевны гордилась своей репутацией хорошей хозяйки. Молодоженам отвели целый этаж, невестке — отдельную комнату, рядом с рабочим кабинетом мужа и библиотекой. Гостиную по настоянию Николая Степановича обставили в стиле «модерн», для остальных комнат привезли из Слепнева прадедовскую мебель красного дерева. Анна обрадовалась: отдельная комната, теплая, уютная, обставленная старинной мебелью — как она мечтала о домашнем семейном уюте в годы южной бездомности! Она вообще всю жизнь страстно хотела того, чего у нее ни в детстве, ни потом не было: семейного уюта и «простой домашней жизни».

Однако очень скоро уютный дом мужа (все, кто бывал у Гумилевых в Царском Селе, утверждают, что семья поэта была радушной, устоявшейся, хорошей чиновничьей семьей) стал казаться ей нежилым, наполненным неживыми вещами («сердце бедное измаялось в нежилом дому твоём»). Дело было, конечно, не в вещах, а в людях, и прежде всего в жене старшего из братьев Гумилевых, которая всем своим поведением подчеркивала, что Анна «чуждый элемент». Ее воспоминания поразительно схожи с воспоминаниями слепневской приятельницы Гумилева Веры Неведомской:

«В дом влилось много чуждого элемента... В семье очутились две Анны Андреевны. Я блондинка, А.А. брюнетка... Она держалась в стороне от семьи. Поздно вставала, являлась к завтраку около часа, последняя, и войдя в столовую, говорила: “Здравствуйте все!” За столом большей частью была отсутствующей, потом исчезала в свою комнату либо уезжала в Петербург».

Может быть, взаимные неудовольствия и сгладились бы, отложи Гумилев запланированное после прошлогодней разведочной прикидки путешествие в Африку. Но он и не подумал откладывать задуманное. И двух недель не прошло после переезда в Царское из Слепнева, укатил в Аддис-Абебу. Свой первый замужний Новый год Анна Гумилева встречала «соломенной вдовушкой». Николай Степанович перед венчанием предупредил невесту, что сидеть у камина и смотреть с тоской, как печально камин догорает, не намерен, и она от чистого сердца пообещала, что будет отпускать его и в Африку, и хоть на край света, как только он захочет. Но вот того, что ее пленник захочет воли так скоро, всего через несколько месяцев после свадьбы, конечно же, и допустить не могла. Больше того, Николай Степанович, так долго добивавшийся согласия именно на брак, иных отношений он и в мыслях не допускал, оказался совершенно не готовым к семейной жизни. Вскоре после его отъезда в Африку Анна Андреевна написала такие стихи:

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети.
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой.

При переиздании ранних сборников процитированную миниатюру Ахматова неизменно браковала, поклонники ее таланта находили, что она с излишним жестокосердием это делает. Но у Анны Андреевны были свои резоны; текст был исключен из состава сборников как слишком личный, без комментария не понятный. Ситуация и впрямь интимная — из тех, что поймут только двое. Гумилев — понял. Вернувшись в марте 1911 из африканского вояжа и прочтя неотправленное женино письмо, ответил не мешкая, разумеется, тоже стихами. Не только ей, но и себе. За четыре месяца первой разлуки с женой он, видимо, тоже многое понял, понял то, чего прежде, во что бы то ни стало добиваясь от Анны согласия на брак, то ли не видел, то ли не хотел видеть:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал забавницу,
Гадал — своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь — морщится,
Обнимешь — топорщится,
А выйдет луна — затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то, — хочет топиться.
Твержу ей: крещеному
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору.
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору.
Молчит — только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,

Как птицу подбитую,
Березу подрывтую
Над очастью,
Богом заклятую.

«А я не могу взлететь...»

Судя по всему, фраза про незадачливого жениха, который привез из Киева чудную — не ту жену: «С тобой по-мудреному возиться теперь мне не в пору», сказана не совсем в шутку, похоже, это итог многомесячных, на расстоянии, раздумий.

Уже в первое медовое лето Николай Степанович был раздражен необходимостью «возиться» с непонятными ему причудами. Он любил в Аннушке приморскую девчонку, озорную и дерзкую, в образе строгой послушницы она ему не нравилась. Не нравились и стихи, те, что были ему известны до весны 1911; впрочем, как мы уже знаем, и сама Анна находила их «чудовищными»: так писали в ту пору чуть ли не все литературно озабоченные провинциальные гимназистки. Впрочем, охота, с какой эти семейные стихи крайне скрытный Николай Степанович читал на людях, неизменно осведомляясь у жены, позволит ли она, заставляет предположить, что Гумилев ничего страшного в размолвках пока не видел. По своей деятельной натуре он полагал: надо найти для Анны занятие, и тогда все уладится; и капризы, и истерики, и недомогания, все — от безделья.

Занятие предполагалось не литературное, однако со своими литературными единомышленниками молодую жену Гумилев все-таки познакомил и почитать стихи разрешил. Первое выступление летом 1910 оказалось неудачным. Бойкие и самонадеянные, люди гумилевской свиты сразу же решили: Николай женился на обыкновенной барышне. Слегка огорченный, Гумилев попробовал утешить Анну: «Займись лучше танцами, ты такая гибкая...» На том и простились. На целых полгода.

Видимо, вскоре после отъезда Гумилева, как шило из мешка, вылезла и еще одна неприятная новость. Уже летом, в Слепневе, Анна Андреевна с некоторым удивлением наблюдала за открытыми ухаживаниями мужа за молоденькой кузиной, точнее — двоюродной племянницей Машенькой Кузьминой-Караваевой, которую Гумилев знал с детства. Машенька за годы, проведенные Николаем Степановичем за границей, превратилась в настоящую русскую красавицу, светловолосую, с чудесным цветом лица. Но особенного значения этим ухаживаниям мужа Анна Андреевна не придавала, решив, что Коля просто разыгрывает роль влюбленного, чтобы отвлечь девушку от мрачных мыслей: у Машеньки, несмотря на цветущий внешний вид, была чахотка (она скончалась в самом начале 1912 в Италии). Однако домашняя служба новостей довела до сведения неугодной снохи, что ее муж влюблен в прелестную барышню Кузьмину-Караваеву всерьез.

Коротая соломенное вдовство, полуброшенная новобрачная старалась как можно меньше бывать дома. То уезжала к родным в Киев, то в гости к отцу, в Петербург. После ее замужества отношения с отцом несколько потеплели: он старел, старела и его «адмиралыша» и уже не вызывала в Анне мучительной неприязни. Возвращалась поздно и одна. Вокзал и поезд в жизни коренных царскоселов выполняли роль клуба интересных знакомств. Завелись такие знакомства и у Анны Гумилевой: в поезде она однажды разговорилась с Николаем Пуниным (через десять лет Анна Ахматова станет его гражданской женой, и брак этот окажется самым длительным из ее замужеств), на вокзале прочла Георгию Чулкову свои первые настоящие стихи... В ту же зиму и тоже в поезде приворожила и Николая Недоброво. Через четыре года Николай Владимирович напишет о поэзии Ахматовой первую серьезную критическую статью. Словом, жизнь все-таки делала, пусть и маленькие, приятные подарки. Но лучше ей не становилось. Вот какой запомнил ее Георгий Иванович Чулков:

«Однажды на вернисаже выставки “Мира искусства” я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками “Аполлона”, которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишев-

ского зала. Моросил дождь. И характернейший петербургский вечер окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло».

Не помогали и одинокие прогулки по любимому Царскому Селу: еще пять лет назад они лечили душу, а теперь и улицы, и переулки, и парки, и даже парковые водопады стали чужими и всем своим видом словно бы показывали, что и для них она — «чуждый элемент». Она попробовала написать это новое, чужое и мертвое, Царское:

Пять лет прошло. Здесь все мертво и немо,
Как будто мира наступил конец.
Как навсегда исчерпанная тема,
В смертельном сне покоится дворец.

Но продолжать не стала, а мысленно вернулась в детство и стала по частям отнимать у забвения уцелевший, сохраненный в «подвале памяти» прежний, «игрушечный», но живой, пленительный город нестрашных загадок и не опасных полудетских влюбленностей. Тема, показавшаяся исчерпанной, была неисчерпаемой! «По аллее проводят лошадок...»; «А там мой мраморный двойник...»; «Смуглый отрок бродил по аллеям...»; «Целый букет принесут роз из оранжереи...»; «Туманом легким парк наполнился...»; «Я сошла с ума, о мальчик странный, в среду в три часа...». Перенесенные воображением в игрушечный городок детства и нынешние ее беды, совсем не игрушечные, просветлялись и не тянули — тяжел камень, к земле тянет, — а помогали взлететь. Ей и собственное отражение в поэтическом зеркале теперь почти нравилось: это было ее лицо, лучшее из ее лиц. Вернув себе детский рай, Анна и «полуброшенность» воспринимала уже не как драму, а по-пушкински: как светлую печаль. За несколько месяцев отсутствия мужа она написала целую книгу стихов. На первом своем сборнике, под названием «Вечер», вышедшем в свет в марте 1912, Анна Ахматова почти через полвека, в 1958, в начале своей «плодоносной осени», сделает такую надпись:

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий веноч.
А под ним тот профиль горбатый
И парижской челки атлас,
И зеленый продолговатый
Очень зорко видящий глаз.

(Авторское название: «В старом зеркале, или Надпись на книге “Вечер”. 1912».)

Зоркость поэтического, и не только поэтического, зрения Анна Андреевна сохранила до самой старости. Один из молодых поэтов, составлявших в 1960-е свиту «королевы в изгнании» (выражение Иосифа Бродского), вспоминает:

«Ахматова обладала редкостной... наблюдательностью, зоркостью, она тотчас замечала то, на что другие не обращали внимания. Взяв однажды в руки выпуск “Paris match”, посвященный незадолго до того умершему Черчиллю, который остальные перед тем успели просмотреть, она указала на нескольких фотографиях детали, которых никто не заметил, такие, как Орден подвязки на ноге Черчилля, или на то, что на одном снимке министр был пьян».

«Одною песней больше будет»

Когда Николай Степанович вернулся из Африки, Анна Андреевна попробовала выяснить, что в семейных сплетнях о его романе с «кузиной» Кузьминой-Караваевой правда, а что наговор, но Гумилев ни выяснения отношений, ни женских истерик терпеть не мог: разговор не состоялся. Кончилось первой крупной размолвкой: Анна Андреевна укатила в Париж, а Николай Степанович, посадив жену в поезд, — в Слепнево, развлекать тамошнюю молодежь. По возвращении из Парижа Анна Андреевна нашла в деревне

все то же, что было и прошлым летом. Однако вопросов мужу больше не задавала: Машенька была слишком больна, это видели все, кроме Николая Степановича.

Парижские приключения 1911 (легкий, без продолжения, вполне в духе времени, роман с художником Амедео Модильяни, тогда еще совсем не знаменитым), как это ни странно, восстановили супружеское согласие. В томик Теофиля Готье, привезенный из Франции специально для неверного Николая Степановича, неверная его жена, как бы по забывчивости, вложила романтическое послание от парижского своего поклонника — Модильяни. Николай Степанович пришел в бешенство. Расквитавшись и повинившись, супруги помирились. И вроде бы простили друг другу: он ей — Модильяни и увеселительную прогулку в Париж, она ему — Машеньку и Африку. Тем легче простила, что убедила себя: влюбленности мужа — всего лишь «средство для ярко-певучих стихов», не зря Николай Степанович так часто и с таким нажимом цитировал именно эти строки своего кумира Валерия Брюсова.

Отдадим должное Николаю Гумилеву: ни влюбленность в смертельно больную кузину, ни отвращение к женским истерикам, ни ревность к поклонникам жены, которых становилось все больше и больше, не помешали ему заметить, что написанные Анной за время его отсутствия стихи решительно не похожи на ее прежние девичьи экзерсисы. О первой и, может быть, самой главной, потому что первая, литературной победе, пока еще внутри домашнего круга, Ахматова рассказала так:

«25 марта 1911 г. старого стиля (Благовещенье) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку (Аддис-Абеба). В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: “А стихи ты писала?” Я, тайно ликуя, ответила: “Да”. Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: “Ты поэт”».

Николай Степанович был не первым, кто понял, что Анна Гумилева, которую чуть было не записали в обыкновенные барышни, — поэт. То же самое сказал ей Георгий Чулков, когда, опоздав на царсосельский паровичок, они пили кофе в привокзальном буфете, а она, осмелев от неловкости, стала читать стихи. Читала и в редакции «Аполлона». По воспоминаниям одного из присутствовавших на этом чтении, Анна Андреевна так нервничала, что «от волнения слегка дрожал кончик ее лакированной туфельки». Но вкусу сотрудников «Аполлона» она не очень-то доверяла, а Чулкова, зная его репутацию первостатейного ловеласа, тайно подозревала в том, что тот просто решил приволокнуться, потому и льстит.

Изумление и одобрение Николая Степановича — совсем другое дело: Гумилев, если речь шла о стихах, не делал скидок никогда и никому и выражал свое мнение «прямо в глаза». Решив, что надо делать книгу, он, не теряя ни дня, приступил к реализации этого проекта. Гумилев подключил к срочному делу и членов созданного по его инициативе «Цеха поэтов», и сочувствующих: предисловие написал поэт Михаил Кузмин, обложку рисовал тоже поэт — «синдик» «Цеха поэтов» Сергей Городецкий, фронтиспис — приятель Кузмина мирискусник Евгений Лансере.

Издательство «Цех поэтов» было задумано как непериодический орган новорожденной и сразу же отмежевавшейся от символистов группы акмеистов, лидером которой стал Николай Гумилев. Меценатов решено было не искать, из гордости и из принципа, а чтобы удешевить процесс издания, ввели серийное оформление; вышедший одновременно с «Вечером» сборник Михаила Зенкевича «Дикая порфира» внешне был похож на ахматовский как близнец. Их и обмывали вместе. Автор «Дикой порфиры» в очерке «У камина с Анной Ахматовой» так описал те памятные для него дни:

«Вот я везу ее «Вечер» вместе со своей “Дикой порфирой” на склад к Вульффу, и на собрании “Цеха поэтов” мы сидим с ней в нелепых лавровых венках, сплетенных Городецким».

Венки как самый рукодельный из «цеховиков» действительно сплел Сергей Городецкий, а вот лавры добыла в оранжерее то ли Царского Села, то ли Павловска Анна Ахматова.

Кроме «Вечера» и «Дикой порфиры», в первый залп — по символистам из акмеистической пушки — Гумилев включил также книжечки Е. Кузьминой-Караваевой (в будущем — Мать Мария, героиня французского Сопротивления) и Вас. Гиппиуса. (В 1912 Гумилев относился к символистам уже не просто отрицательно, но враждебно, считая, что они «как дикари, которые съели своих родителей и с тревогой смотрят на своих детей».) На залп по «дикарям-людоедам» и ждали реакции, но случилось непредвиденное: «Вечер» самоходно, без того, что ныне называется *раскруткой*, сделался гвоздем сезона.

Сборник никому еще вчера не известной Ахматовой читатели искали по магазинам, огорчались, что раскуплен, любопытствовали «на счет» автора, кто такая и откуда пришла. Словом, налицо были все признаки успеха, и успеха такой внезапности и непредсказуемости, что Гумилев нарочно при домашних, за общим чаем, произнес страшное слово «слава».

Анна приняла случившееся иначе: ей стало казаться, что публикация ее ославила, то есть опозорила. Стояло перед глазами брезгливое лицо отца. Думая потешить его тщеславие, она как-то показала ему студенческий журнал «Gaudeamus», где стихи были подписаны ее девичьей фамилией: Анна Горенко. Андрей Антонович расшвырял: «Я тебе запрещаю так подписываться. Я не хочу, чтобы ты трепала мое имя».

Подписываться после этой сцены она стала иначе: Анна Ахматова, но инцидента не забыла, незадолго до смерти внесла в «Записную книжку» такой отрывок:

Пусть даже вылета мне нет
Из стаи лебединой...
Увы, лирический поэт
Обязан быть мужчиной,
Иначе все пойдет вверх дном
До часа расставанья —
И сад — не сад, и дом — не дом,
Свиданье — не свиданье.

К тому же она досадовала на свою робость: ей хотелось назвать книжку с вызовом: «Лебеда» и открыть «Песенкой». В «Песенке» была долго не дававшаяся ей сложная простота:

Я на солнечном восходе
Про любовь пою,
На коленях в огороде
Лебеду полно.

Но Михаил Кузмин, обожавший живопись Константина Сомова, усмотрел в стихах супруги приятеля сомовские мотивы, почти вариации на тему знаменитого для мир-искусников программного «Вечера». Анна попробовала сопротивляться: почему вечер, если у нее восход, да еще и солнечный? И как это связать? Но Кузмин нашел выход: предложил объясняющий название эпиграф из Андре Терье: «La fleur des vignes pousse et j'ai vingt ans ce soir» («Цветок виноградных лоз растет, и мне двадцать лет сегодня вечером»).

Впрочем, и Кузмина понять можно: героиня «Песенки» слишком проста, в ней нет того, что поражало в Ахматовой, удивляло уже в первых стихах — странный набор несовместимых свойств: скромность до застенчивости и дерзость, робость и вызов, крайняя неуверенность в себе и апломб, надменность и простота. И так во всем: черты лица слишком острые, чтобы лицо можно было назвать красивым; сказочная гибкость, которой дивились примадонны петербургского балета, а ходить не умеет, движется как сомнамбула. Анна хотела объяснить, что ее лебеда — не огородный сорняк. Не сумела... Объяснит потом, много лет спустя: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда! Как одуванчик у забора, как лопухи и лебеда...» И отцу ничего не доказала. Уж если и он считает, что «быть поэтом женщине нелепость», чего же тогда ждать от свекрови, а тем более от золовки — белокурой дурищи Анны Андреевны-старшей?

Но свекровь вдруг сделалась шелка нежней и уже не поджимала губы, когда младшая, чудная, невестка, проспав до полудня, являлась к завтраку последней и приходилось опять раздувать самовар. Младший сын сообщил ей под секретом, что Аннушка беременна. Анна Ивановна вмиг помолодела, прислуга забегала, спешили навести порядок и уют: появления младенца ждали к исходу сентября...

К предстоящему прибавлению семейства будущий отец отнесся без энтузиазма, успех жениного «Вечера» обрадовал его куда больше. И тем не менее 1912 год был, кажется, почти благополучным для четы Гумилевых. В начале лета они вдвоем побывали в Италии, осенью Анна Андреевна родила мальчика, которого назвали Львом в память о крестном отце Николая Степановича — Льве Ивановиче Львове. Впрочем, почувствовать себя матерью Анна Андреевна не успела. Едва она перестала кормить сына грудью, как свекровь, давно мечтавшая о внуке, настояла на том, чтобы Левушка был целиком предоставлен ей. А весной 1913 неугомонный Николай Степанович вновь укатил в Африку.

Воспользовавшись отсутствием сына, Анна Ивановна взялась за генеральную уборку, невестку же попросила разобраться в мужниных бумагах. Анна Андреевна просьбу свекрови исполнила, а наводя порядок на Колином письменном столе, выудила из вороха рукописей увесистую связку женских любовных писем. В 1913 Ахматова уже вполне отдавала себе отчет в том, что их брак вовсе не похож на идиллический союз «Дафниса и Хлои», как писал когда-то Гумилев. Она выходила замуж за верного рыцаря, который жить не мог без нее, оказалось, однако, что верность милый друг Коля понимает вовсе не так старомодно, как она. Для него любовь не исключала ни случайных связей, ни мимолетных влюбленностей — по Брюсову: «О, эти взоры мимолетные на гулких улицах столиц...» Таков был стиль любовного быта эпохи. Дитя того же времени, Анна Ахматова не часто, но иногда позволяла себе и то и другое. Но тут была одна тонкость, которой Гумилев не признавал: для нее «великая земная любовь» исключала «холод измен», необязательных, бездумных любовных забав...

До официального развода и Анна Андреевна, и Николай Степанович по взаимному уговору щекотливое обстоятельство тщательно скрывали, да и потом Анна Андреевна на сей счет помалкивала, но Лукницкому все-таки призналась, что «НС никогда физически не был верен никому, что этого не мог и не считал нужным». Какое-то время она, понимая, что во многом виновата сама, закрывала глаза на хроническое донжуанство мужа. К тому же телесность в отношениях между мужчиной и женщиной ей никогда не представлялась самым главным. Вот как про это записано у Лукницкого:

«Не любит телесности. Телесность — проклятье земли. Проклятье — с первого грехопадения, с Адама и Евы... Телесность всегда груба, усложняет отношения, лишает их простоты, вносит в них ложь, лишает отношения их святости... Чистую, невинную, высокую дружбу портит...»

Чуть ли не демонстративно брошенные любовные письма, а главное, появление на свет той же осенью Левушкиного единокровного братца заставили ее усомниться и в том единственном, что оправдывало их брак: в святости высокой дружбы.

За полгода она не написала мужу ни одного письма. Правда, тревожиться за него не перестала. В августе 1913, уже после злосчастной находки, обеспокоенная отсутствием вестей из Африки, пишет их общему другу, поэту и переводчику Михаилу Лозинскому: «У меня к Вам большая просьба, Михаил Леонидович... Так как экспедиция послана Академией, то самое лучшее, если справляться будут оттуда. Может быть, Вы можете пойти в Академию и узнать, имеют ли там известия о Коле...»

С африканскими путешественниками ничего не случилось. 20 сентября 1913 Гумилев вместе с племянником вернулся в Петербург, сдал в Музей антропологии и этнографии привезенные из Африки «трофеи», в том числе и множество уникальнейших фотографий, многое подарил, а за что-то, видимо, получил даже деньги. В первый же день жена вручила ему находку: связку женских писем — вещественное доказательство его «неверности» и молча ждала объяснений. Объяснений и на сей раз не последовало,

однако попытка сохранить то, что еще можно было сохранить, была все-таки сделана: супруги договорились, что отныне жить будут хотя и вместе, но как бы и врозь, не мучая друг друга бессмысленной ревностью. Для того и решили снять комнату в Петербурге, подальше от материнских глаз.

Ахматова гордилась своим великодушием: «Выбрала сама я долю другу сердца моего: отпустила я на волю в Благовещенье его». Гумилев лучше понимал, что происходит. В конце первого года воли он написал жене такие слова: «Милая Аня, я знаю, ты не любишь и не хочешь понять это...» Но и эта правда не была настоящей правдой. Анна имела право ответить на горькое письмо мужа словами Баратынского, выбранными для эпитафии к «Четкам»: «Прости ж навек! Но знай, что двух виновных, не одного, найдуться имена в стихах моих, в преданиях любовных».

«Проснуться знаменитым»

Год 1913, последний год настоящего, не календарного девятнадцатого века, подходил к концу. В автобиографической прозе, на склоне лет, Ахматова назовет осень перед Первой мировой войной трагической, но тогда ей так не казалось. Она упивалась привольем, тем, что наконец освободилась (тогда говорили «эмансипировалась»). И от смущавшего душу чувства «вины перед Колей»: за то, что без страстной любви под венец шла и что невинность для него, единственного, не хранила. И от брачных уз, и от опрометчиво данных клятв. И от тайного страха, что успех «Вечера» случаен, что второй, главной, книги не будет, что замужество, беременность, роды, беспокойство за младенца изменят самый состав ее существа, и стихи пропадут, внезапно и непонятно, как и пришли, пришли ниоткуда и уйдут в никуда. Страх оказался напрасным: стихи шли еще более ровной и сильной волной. Меньше чем за год она собрала новую книгу и уж эту-то окрестила сама и так, как хотела: «Четки»; а «Вечер», ополовинив (исключив стихи, из которых успела за два года вырасти), переместила в конец сборника и в полном объеме никогда больше не перепечатывала.

«Вечер» взбаламутил литературный «пруд»; «Четки», выдержавшие множество переизданий (Анна Андреевна шутила, что устала считать!), с триумфом прошли по стране. Ахматова не раз вспоминала, что литературная элита и после «Четок» не спешила ее признать. Объявить миру и граду, что автор «Четок» — «Анна Всея Руси» (титул, пожалованный ей Мариной Цветаевой), критиков, по ее мнению, заставили читатели. «Я голос ваш, жар вашего дыханья» — под этими словами Ахматовой не раздумывая подписалось бы все ее поколение, а не только женская его половина.

Слово «триумф» применительно к «Четкам» ничуть не преувеличение. Победительность этой книги в последнее имперское трехлетие столь безусловна, что петербуржцы, оказавшиеся в эмиграции после событий 1917, считали: в «Четках» и в третьем томе лирики Блока отнята у забвения вся та Россия, которую они потеряли. И не одни эмигранты так думали. Пастернак прочитал «Четки» спустя четверть века, лишь после того, как Анна Андреевна, догадавшись, что Борис Леонидович не знает ее ранней лирики, великодушно восполнила этот пробел. Поэт был поражен: «Способность Ваших первых книг воскрешать время, когда они выходили, еще усилилась...» — писал он Анне Андреевне 28 июля 1940.

Лирическая героиня «Вечера» если и влюблена, то не слишком, а слегка; капризная и избалованная, она упивается женской своей властью над поклонниками, такими же юными, как и она. Даже самоубийство одного из «веселых мальчиков» не делает ее ни старше, ни мудрее. Ахматова, как мы помним, и в двадцать лет (специально оговоренный в эпитафии возраст героини: «мне двадцать лет сегодня вечером») такой уже не была. Прелестная и легкомысленная коломбина — первый набросок к образу главной героини «Поэмы без героя» — один из двойников автора, но отнюдь не автопортрет в зеркале.

Совсем иной образ, иное лицо возникает из «Четок». Вскоре после выхода сборника — 14 марта 1914, а может, еще и тогда, когда книжка была в производстве, Анна Андреевна написала стихотворение «Дама в лиловом»:

На шее мелких четок ряд,
В широкой муфте руки прячу,
Глаза рассеянно глядят
И больше никогда не плачут.

И кажется лицо бледней
От лиловеющего шелка,
Почти доходит до бровей
Моя незавитая челка.

И не похожа на полет
Походка медленная эта,
Как будто под ногами плот,
А не квадратики паркета.

А бледный рот слегка разжат.
Неровно грудное дыханье,
И на груди моей дрожат
Цветы небывшего свиданья.

Конечно, и это не автопортрет, скорее, типовой портрет одной из героинь Серебряного века — красавицы тринадцатого года; ни живых цветов, ни бутоньерок Анна Ахматова ни на груди, ни в волосах не носила. И тем не менее дама в лиловом изображена с цветком недаром. Это особый цветок, цветок, превращенный в воспоминание («ты превращен в мое воспоминанье»). Надежда Александровна Бучинская (известная беллетристка Тэффи), уже в глубокой старости, в эмигрантском Париже, в пятидесятых годах, вспоминая трех самых прелестных женщин тогдашнего Петербурга: Анну Ахматову, Нимфу Городецкую, Саломею Андроникову (этой последней из петербургских прелестниц посвящено стихотворение Ахматовой «Тень»), писала:

«У Саломеи была высокая и очень тонкая фигура. Такая же тоненькая была и Анна Ахматова. Они обе могли, скрестив руки на спине, охватить ими талию так, что концы рук сходились под грудью. Высокая и тонкая была также Нимфа, жена Сергея Городецкого. Мне нравилось усаживать их всех вместе на диван и давать каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво...»

Собрания у Тэффи ее гости называли «синими вторниками», к одному из этих вторников Анна Андреевна и купила свое знаменитое синее, дабы не совпасть с дамой в лиловеющих шелках, платье. В этом платье она и прощеголяла всю последнюю предвоенную зиму...

В дни выхода «Четок» Чацкина, известная в Петербурге дама, издательница журнала «Северные записки», устроила грандиозный вечер. Гостей, пишет Ахматова в «Автобиографической прозе», собралось видимо-невидимо, и добавляет: «Я была в том синем платье, в котором меня изобразил Альтман». Но читатели, конечно же, не обратили внимание на такую несущественную разницу. В восприятии «читающей публики» портрет Ахматовой в синем работы Альтмана, обошедший чуть ли не все предвоенные выставки новых художников, и стихотворный портрет дамы в лиловом «слились в одно» лицо — лицо автора.

Ахматова попробовала воспротивиться столь буквальному прочтению и пониманию авторского образа; во всяком случае, опубликовав эти стихи в периодике еще в середине 1914, она не включила их ни в переизданные и дополненные «Четки», ни в «Белую стаю» (1917). Увы, ни читатели, ни критики не посчитались с авторской волей: все, что сказано в «Четках» о «любви, измене и страсти» и о любовном быте десятых годов, было истолковано как исповедь и даже интимный дневник не дамы в лиловых шелках, а Анны Андреевны Ахматовой-Гумилевой.

«Там этот человек стоит...»

С «Четками» связана и легенда о безответной любви Анны Ахматовой к Александру Блоку. В молодости Анна Андреевна, когда у нее пытались выяснить подробности рокового романа, обычно отшучивалась. Но с годами стойкость мифологического сюжета начала ее слегка тревожить. Она стала опасаться, что эта сплетня может перекосять не только ее биографию, но и ее стихи, и поэтому вполне серьезно и неоднократно разъясняла, что ничего похожего на роман у нее с Блоком не было («Многие говорят, что я посвящала свои стихи Блоку. Это неверно»). Но ей не верили. Ни тогда, ни потом, намекая, что Анна Андреевна задним числом пытается подретушировать свое отражение в ста зеркалах. На самом деле все было совсем не так! Наоборот! Она негодовала, когда видела, что из нее хотят сделать даму безупречную во всех отношениях. Сошлюсь на первоисточник — малоизвестное стихотворение 1960-х годов:

Оставь, и я была как все,
И хуже всех была,
Купалась я в чужой росе,
И пряталась в чужом овсе
В чужой траве спала.

В то, что у Ахматовой нет любовных посланий к Блоку, не верила и мать поэта. Мнение А.А. Кублицкой-Пиоттух приводит в «Записной книжке» сама Ахматова, ссылаясь на письмо Александры Андреевны от 29 марта 1914.

«Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную... – признается мать поэта своей приятельнице. – И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых: Слава тебе, безысходная боль, — Умер он — сероглазый король.

Вот можно судить, какой склон души у этой юной и впечатлительной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок...»

Ахматова была убеждена, что мать А. Блока, лично с ней не знакомая, излагает историю печальной девушки, которая протягивает руки к ее жестокосердному сыну, со слов самого Блока (не исключено, что именно по данной причине эта версия ее и раздражала; в последние годы жизни Ахматова даже хотела написать книгу под названием «Как у меня не было романа с Блоком»). Между тем у истоков романтической легенды стоял, конечно же, не герой мнимого романа, а Ариадна Владимировна Тыркова, беллетристка и литературный критик. В те месяцы она, часто бывая в семье Блоков (она занималась издательской деятельностью), подружилась с его матерью. Ариадна Владимировна вовсе не была сплетницей. Она умела держать язык за зубами. Об этом свидетельствует следующий фрагмент из воспоминаний Ахматовой:

«Ариадна Владимировна Тыркова... Ей Блок сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он сказал по телефону (дословно): “Вы, наверное, звоните, потому что от Ариадны Владимировны узнали, что я сказал ей о вас”. Сгорая от любопытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день) и спросила “Что сказал Блок обо мне?”. АВ ответила: “Аничка, я никогда не передаю моим гостям, что о них сказали другие”».

Но одно дело — сплетни и совсем другое — доверительный женский разговор в узком домашнем кругу... Ведь Ариадна Тыркова знала Анну Горенко с детства, восхищалась ее внешностью и ее стихами, и ей куда больше, чем матери Александра Блока, было досадно, что тот не обращает должного внимания на девочку ее выбора.

Разумеется, это гипотеза, однако в воспоминаниях Тырковой есть эпизод, почти дословно совпадающий с версией, изложенной в письме А. Кублицкой-Пиоттух:

«Из поэтесс... ярче запомнилась Ахматова... Тонкая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану... Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой

уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне [так называли квартиру Вяч. Иванова, где обычно собирались поэты-символисты] ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее... глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней полутемной комнате».

На самом деле отношения и Блока к Ахматовой, и Ахматовой к Блоку никак не укладываются в простенькую и банальную схему, какую Александра Андреевна Бекетова-Блок-Кублицкая-Пиоттух и Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, соотнеся не понятную им ситуацию с нравами своей юности, себе составили: Она ищет Его глазами; Она протягивает к нему руки, а Он от нее «отвертывается», не смотрит, вряд ли даже слушает. (Тыркова была старше Ахматовой на двадцать лет, то есть на целую эпоху.)

Во-первых, Блок слушал выступления Ахматовой как нельзя прилежней, о чем свидетельствует запись в его Дневнике: «1911. 7 ноября. В первом часу пришли с Любой к Вячеславу. Там уже — собрание большое... Анна Ахматова читала стихи, уже волнуя меня; стихи чем дальше, тем лучше». Во-вторых, впервые Блока Анна Андреевна увидела еще весной 1911, в редакции «Аполлона», однако на предложение сотрудников журнала познакомить ее с поэтом ответила отказом. И это можно понять: Лермонтов, к примеру, тоже не хотел знакомиться с Пушкиным, хотя Александр Сергеевич запросто, по-домашнему, бывал в доме его ближайших родственников.

Вторая встреча с Блоком произошла осенью. Ахматова и на этот раз страстного желания обратить на себя внимание знаменитого современника не обнаруживала. Да, робела, но не только перед Блоком. Корней Чуковский, наблюдавший Анну Андреевну в ту осень, запомнил ее тоненькой и робкой девочкой, ни на шаг не отходившей от своего мужа. И тогда Блок, давно уже привыкший к тому, что молодые поэтессы, а их в десятые годы появилось несметное множество, только и делали, что пытались с ним познакомиться, сам подошел к Гумилеву и попросил представить его Анне Андреевне.

Ахматова всю жизнь удивлялась: Блок, человек крайне воспитанный, при нечастых встречах с ней почему-то допускал мелкие и трудно объяснимые бестактности. Не слишком тактичен был Александр Александрович и в вечер их первого знакомства. Но форма нетактичности свидетельствует о чем угодно, только не об отсутствии заинтересованности. Вот что рассказала Анна Андреевна Лукницкому в 1925 на его вопрос об обстоятельствах, при которых произошло ее знакомство с поэтом:

«В то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила. Но это заметил Блок. Когда АА вернулась домой, она ужаснулась, подумав о впечатлении, которое произвел этот разрез на Блока. Сказала об этом Н.С., укоряя его за то, что он не сказал ей вовремя об этом беспорядке в ее туалете. Н.С. ответил: “А я видел. Но я думал — это так и нужно, так полагается... Я ведь знаю, что теперь платья с разрезом носят”».

С поздней осени 1911 до первой половины 1913 Блок был болен: обострение хронических недугов привело к тяжелой депрессии. Нигде не появлялся и никого, даже ближайших друзей, не принимал: играл с женой «в дураки и акульки». Оправился он лишь к осени 1913. Вот тогда они и встретились на Бестужевских женских курсах, на вечере в честь приезда в Петербург бельгийского поэта Эмиля Верхарна. (Анну Андреевну пригласила Ариадна Тыркова, патронесса этого учебного заведения, а Блок, хотя еще и не чувствовал себя вполне здоровым, не посчитал возможным отказаться от выступления: он свято чтит память деда по матери — профессора Петербургского университета Бекетова, по инициативе которого петербургские женские курсы были созданы.) Анна Андреевна очень волновалась: это было ее первое выступление в большой аудитории. До сих пор она читала стихи только в узком кругу: в редакции «Аполлона», в «Цехе поэтов», в литературном кабаре «Бродячая Собака». Но там ее слушали свои, а здесь, в огромном зале, сидели люди, которым ее имя не говорило ничего. «Когда я вышла, — вспоминала она в 1965, — раздался возглас: “Кто это?” Блок посоветовал мне прочесть “Все мы бражники здесь...”. Я стала отказываться: “Когда я читаю “Я надела узкую юбку”, смеются. Он ответил: “Когда я читаю “И пьяницы с глазами кроликов” — тоже смеются”».

Вечер кончился поздно, погода была отвратительная, как обычно в Петербурге в конце ноября, Блок как джентльмен нанял легкового извозчика и отвез даму на Васильевский остров. По всей вероятности, тогда же и пригласил в гости. А так как чуть ли не на следующий день он свалился с сильнейшей простудой, то исторический визит состоялся лишь в середине декабря. Поскольку все дневниковые записи, относящиеся к осени 1913, Блок уничтожил, а Ахматова, когда ее расспрашивали о подробностях, только отмахивалась, дескать, поэт был не в форме, из беседы, мол, запомнилась только одна деталь: «...Я между прочим упомянула, что... Бенедикт Лившиц жалуется на то, что Блок одним своим существованием мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: “Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой”».

Уходя, Анна Андреевна оставила хозяину его сборники — «чтобы он их надписал». На каждом поэт написал просто: «Ахматовой — Блок». А вот в третий, только что вышедший том вписал сразу после ее ухода сочиненный мадригал:

«Красота страшна», – Вам скажут —
 Вы накинете лениво
 Шаль испанскую на плечи,
 Красный розан — в волосах.
 «Красота проста», – Вам скажут —
 Пестрой шалью неумело
 Вы укроете ребенка,
 Красный розан — на полу.

И рассеянно внимая
 Всем словам, кругом звучащим,
 Вы задумаетесь грустно
 И твердите про себя:
 «Не страшна и не проста я;
 Я не так страшна, чтоб просто
 Убивать; не так проста я,
 Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Стихам как жесту Анна Андреевна обрадовалась, но сделанный Блоком портрет — невзлюбила.

Портрет Ахматовой в испанской шали и в самом деле слегка смахивает на эскиз театрального костюма, однако одна важная и, видимо, бросающаяся в глаза особенность ее поведения — сочетание внешней декоративности облика и внутренней простоты — все-таки подмечена.

Получив от Блока бандероль, Ахматова не без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) подобрала приличествующие случаю слова искренней благодарности, а в письмо вложила как бы пустячок (Вы мне мадригал в полуиспанском стиле, а я Вам — комплимент почти по-великосветски):

Я пришла к поэту в гости.
 Ровно полдень. Воскресенье.
 Тихо в комнате просторной,
 А за окнами мороз
 И малиновое солнце
 Над лохматым сизым дымом...
 Как хозяин молчаливый
 Ясно смотрит на меня!
 У него глаза такие,
 Что запомнить каждый должен,
 Мне же лучше, осторожной,
 В них и вовсе не глядеть.
 Но запомнится беседа,
 Дымный полдень, воскресенье

В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

Третью строфу: «У него глаза такие...», как правило, и цитируют те, кто убежден, что Анна Андреевна была влюблена в Блока, к ней же присоединяют все, что говорится в стихах Ахматовой о глазах человека, в которого влюблены лирические героини ее книг. Но при этом почему-то забывают, что почти одновременно «очень зорко видящий глаз» воскресной визитерши в молчаливом хозяине просторной комнаты разглядел еще и его страшного двойника — «с мертвым сердцем и мертвым взором»:

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой.
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый — полуночника.

Испугавшись, видимо, и сама того, что нечаянно подсмотрела, Ахматова эти стихи при жизни Блока не печатала. Однако и Блок, судя по всему, все-таки заподозрил что-то неладное. Во всяком случае, через два дня после визита «ведьмы с Лысой горы» он написал такие тревожные стихи:

Как бы ни был нечуток и груб
Человек, за которым следят,
Он почувствует пристальный взгляд
Тем и страшен невидимый взгляд
.....
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят.
Не корысть — не влюбленность, не месть;

Так — игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть...

Не думаю, чтобы Блок заподозрил, что у красивой и нарядной гостьи чересчур зорко видящий глаз, в самый день визита. Да и какой гений сыска смог бы предположить, что смущающаяся, скромная до застенчивости, вмиг оробевшая дама-девочка — «тайная сыщица»? Только тогда, похоже, и сообразил, когда заметил: каждый раз при столкновении с этой женщиной, к которой ничего и близко похожего на влюбленность не испытывал, стихов которой не любил, хотя и отмечал с «тайным холодом», что они «чем дальше, тем лучше», начинает вести себя как сбитый с панталыку: задает дурацкие, бестактные вопросы, становится «не собой». Но все это стало замечаться меж ними только после 15 декабря 1913, а в тот морозный и солнечный день Анна Андреевна наверняка не подозревала, что явилась в строгий дом у морских ворот Невы в роли «тайной сыщицы» и с «нехорошей» целью: хищно надыхаться закрытой на семь ключей душой Блока, похитить тайну его «чар», словом, сделать эскиз, по которому несколько десятилетий спустя будет написан полный, врубелевского размаха, портрет человека-эпохи, нового Демона, в «Поэме без героя»:

На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?

Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все — таинственно в прищелце.

Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале
Или все это было сном?
С мертвым сердцем и мертвым взором...

Но все это откроется позже. Что же касается того малинового воскресенья, то Блок, заметив, что Анна Андреевна смущена до слез и совсем не похожа на «гумильвицу», воспользовался давно отработанным для проходящих с улицы либо по записке начинающих поэтов и поэтесс сценарием. Ритуал подобного приема известен нам по воспоминаниям Рюрика Ивнева, Надежды Павлович и по рассказам Сергея Есенина. Не умевший и не любивший проявлять себя в разговоре, «трагический тенор эпохи», как назовет его чуть ли не полвека спустя Ахматова, сначала предлагал визитерам что-нибудь почитать, затем следовало предложение рассказать о себе, и так как хозяин молчал и только смотрел ясно и просто, юные дарования переставали смущаться.

Рюрик Ивнев: «Блок слушал с таким вниманием и интересом, что я рассказал почти всю свою биографию...»

Надежда Павлович: «Блок увидел, что я побледнела, подошел и спросил, что со мной. Внимательно посмотрел на меня, понял и тихонько сказал: “Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рассказывайте мне о себе”. И я рассказала ему все самое главное, внутреннее, важнейшее, как можно рассказать только самому близкому человеку. Сидела я у него до часу ночи».

Ивнев был у Блока в 1909, Павлович одиннадцать лет спустя, но сценарий приема, как видим, не изменился, и у нас нет оснований предполагать, что он был изменен 15 декабря 1913 специально для Анны Ахматовой. Все было, видимо, как всегда: сначала стихи, немного, потом — «рассказывайте о себе...».

Но что Анна Андреевна могла рассказать Александру Александровичу о себе? Про стихи вообще ни он, ни она рассуждать не любили, потому как считали, что творчество очень одинокое дело. Все остальное было ему *чужим*, а думать про *чужое* Блок не умел...

Но была одна тема, которую и он, и она могли обсуждать хоть до часу ночи: Блок, как и Ахматова, трогательно и как-то по-детски страстно-застенчиво любил море. Когда дочери его душевного друга Евг. Иванова исполнилось два года, Блок подарил крестнице игрушку — большой корабль. Н. Павлович, приводя этот факт, добавляет: «Надо знать все пристрастие Блока к морю и кораблям, чтобы оценить выбор именно этого подарка — вот уж от полноты сердца».

Павлович же принадлежит и другое наблюдение: «Сам Блок почти по-детски любил все, связанное с морем. Он часто рисовал корабли. У него был альбом, куда он наклеивал различные картинки, снимки, заметки. Больше всего там было кораблей». Но по-детски любя море вообще, Блок никогда не видел моря Черного; вот уж где Анна Андреевна могла развернуться и выложить все-все: и про свое дикое, языческое, херсонесское детство («У меня два детства: Царскосельское и Херсонесское»). И про приморскую юность, и про дружбу с лихими балаклавскими рыбаками, и про камень в версте от берега, до которого восьмилетней пацанкой доплывала... И про то, как однажды в тихую и сонную бухточку у Георгиевского монастыря, до смерти перепугав и дачников, и монахов, вошла военная эскадра из шести миноносцев. Тревоги была ложной, дело объяснилось самым что ни на есть обыкновенным образом. Контр-адмирал А. Сиденсер, потомственный флотоводец и весьма образованный человек, узнав из газет, что на даче возле Свято-Георгиевского монастыря отдыхает художник В. Верещагин, его однокашник по Морскому кадетскому корпусу, выведя свою флотилию на учебную прогулку, решил нанести знаменитому современнику визит дружбы, обставив его по-царски, так, как приветствовали императорское семейство, когда Николай II с чадами и домочадцами прибывал в Севастополь, чтобы отсюда морем добираться до южнокрымской резиденции.

Блок удивился: оказалось, что и с ним произошло нечто подобное позапрошлым летом, когда он с женой отдыхал во Франции, и тоже у самого моря. Переполошив

отдыхающих, в курортную бухту вошла военная эскадра: один миноносец и четыре миноноски. Он даже попытался сделать из этого происшествия стихи, но впечатления хватило лишь на одну строфу... А еще больше удивился Блок тому, что Анна Андреевна до сих пор ничего не написала про свой удивительный Херсонес. И вообще: почему бы ей не попробовать себя в поэме? Не получается как хотите? А Вы рискните — а вдруг?

Однако все первые месяцы 1914 Ахматовой было не до поэмы: она вносила последние изменения в «Четки», корректуру держал глава издательства «Гиперборей» Михаил Лозинский, «придиравшийся» к каждой мелочи («Он делал это безукоризненно, как все, что он делал. Я капризничала, а он ласково говорил: “Конечно, раз вы так сказали, так и будут говорить, но, может быть, лучше не портить русский язык?” И я исправляла ошибку»).

Как только в марте 1914 «Четки» вышли в свет, первый экземпляр тиража по настоянию Гумилева отправили в редакцию влиятельного журнала «Русская мысль», зорко следившего за новинками современной литературы, а второй Анна Андреевна отослала Блоку. И, видимо все еще находясь под впечатлением их декабрьской беседы, дружеской и доверительной, допустила оплошность: подписывая книгу, заменила привычное Вы совсем не привычным ей Ты: «От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи». Блок ошетинился: ответил вежливо, но сухо: «Вчера я получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери... сегодня утром моя мать взяла книгу и читала не отрываясь: говорит, что не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски подлинно». Записка Блока датирована 26 марта 1914, приведенное выше письмо его матери, которая, по словам Александра Александровича, читала «Четки» не отрываясь, написано 29 марта того же года, однако в нем нет ни слова о новой книге.

О том, что Блок написал неправду, выдав собственное беглое впечатление за мнение матери, Ахматова, конечно, не догадалась, но намек и урок — дескать, книжица сия для дамского чтения, уяснила вполне. И внутренний жест, определивший тональность текста, поняла точно: «Не тронь меня!» Нет, она не обиделась, потому что знала: Александр Александрович не лукавил, когда говорил: «В каждом человеке несколько людей, и все они между собою борются. И не всегда достойнейший побеждает». Того Блока, который по-детски открыто и бесхитростно показывал ей свой морской альбом, куда клеивал картинки с кораблями, победил другой, страшный Блок — «с улыбкой мертвой и сухой». Значит, так надо, значит, дело, которое он сейчас делает, требует, чтобы он был таким, а не другим.

«Железный шаг войны»

Весна 1914 года выдалась дождливой, зима, проведенная в Петербурге, в холодной и сырой комнатухе, не прошла бесследно: Анна нехорошо, натужно кашляла, даже приезжая в Царское Село, в натопленном до духоты доме свекрови никак не могла согреться. В Слепневе было не лучше. Анна Ивановна, подозревая чахотку, запретила невестке подходить к внуку. И Ахматова уехала в Киев, а оттуда — в Дарницу, маленькое имение тетки, к матери. За две недели южного солнца от предполагаемой чахотки не осталось и следа. Можно было, не опасаясь заразить Левушку, перебраться в Слепнево.

Дождливый июнь 1914, от которого Анна сбежала в киевскую благодать, обернулся дикой июльской жарой. В начале того же июля в Кронштадт прибыла французская эскадра с президентом Франции Пуанкаре. Петербург вмиг офранцузился: лоточники нарасхват торговали французскими национальными флажками, студенты, в обнимку с подвыпившими матросами, распевали «Марсельезу», мастеровые меняли картузы на французские военные береты с помпоном, и все чем-то размахивали — флажками, платками, шляпами, а дамы — солнечными зонтиками... Веселье не прекращалось и ночью: на иллюминацию отцы города золотых червонцев не жалели. Газетчики, сквозь платок, накинутый на роток, проговаривались: дескать, братаемся и с французами,

и с англичанами неспроста, надо, мол, приструнить немцев, но обыватели газетчикам не очень-то верили. Война? Какая война? Орали, надрывая связки: «Ура! Вив ля Франс!»

Никаких дурных предчувствий не было и у Анны Андреевны. Наоборот! Было ощущение полноты душевных сил, доверие к жизни и вера в то, что жизнь сама выберет тропу и даст знак. Так и случилось.

«Летом 1914 г., – вспоминала Ахматова незадолго до смерти, – я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара... и про то, что через несколько недель мимо домика в Дарнице ночью с факелами пойдет конная артиллерия, еще никто не думал... В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву. С вокзала Киевского на вокзал Николаевский на извозчике... Еще совсем мирная Москва, как всегда, в своем, одной ей свойственном колокольном звоне, в сети крошечных древних церквушек дивных колеров... В общем Москва Марины Цветаевой... Извозчик везет через Кремль... Меня, петербуржанку, поражает, что под Спасскими воротами он снимает шапку, берет ее в зубы и крестится... Сажусь в первый попавшийся почтовый поезд. Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит — бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: “Александр Александрович!” Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: “С кем вы едете?” Я успеваю ответить: “Одна”. И еду дальше... Сегодня через 51 год открываю “Записную книжку” Блока, которую мне подарил В. Жирмунский, и под 9 июля 1914 года читаю: “Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. — Меня беспробудно. — Анна Ахматова в почтовом поезде” (станция называлась “Подсолнечная”)).

В 1914 Анна Андреевна конечно же и мысли не могла допустить, что Александр Александрович, увидев ее в тамбуре почтового поезда, заподозрит заговор нечистой силы, однако сама восприняла встречу на станции Подсолнечная как некий вещий знак.

Летняя благодать. Золотой Киев. Софийские и московские колокольные звоны. Богородица с безумными глазами. Дни, полные гармонии. И эта чудесная встреча. Нет, Блок совсем не понял слова, которые она, не смея произнести вслух, написала на подаренных ему «Четках»: «От тебя приходила ко мне тревога и умение писать стихи»... Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не стихи, а моление. Молитвословие: как перед Богом!

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась...

И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

10 июля она была уже в Слепневе. Вскоре приехал и Николай Степанович, как всегда, со связкой книжных и журнальных новинок. Анна раскрыла «Русскую мысль», заглянула в конец, там издатели журнала регулярно, в каждом номере, печатали список книг, присланных авторами в редакцию, нашла извещение о выходе сборника «Четки», хотела было отложить и книжку, но увидела, что номер открывает стихотворение Блока. Читала и не верила тому, что читала: стихи были о море, о миноносцах, вдруг объявившихся в сонной курортной бухте!

Ты помнишь? В нашей бухте сонной
Спала зеленая вода,
Когда кильватерной колонной
Вошли военные суда.

Четыре — серых. И вопросы
Нас волновали битый час,
И загорелые матросы
Ходили важно мимо нас.

Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг суда уплыли прочь.

Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, — и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне...

Значит, Блок, так же, как и она, не забыл «беседы» о море и кораблях? И неужели к ней обращены эти удивительные слова: «Ты помнишь, в нашей бухте сонной»? И дальше, самое главное, искупающее и дурацкий портрет с красным розаном в волосах, который она никогда не носила, и испанскую шаль, которой у нее никогда не было, и все прочее, в том же духе: «Как мало в этой жизни надо нам, детям, — и тебе и мне!» Вот теперь она уже точно напишет о своем Херсонесе, о дикой девочке, которая знает о море все, и напишет так, как хочет... Завтра! Но завтра уже была ВОЙНА.

Мы на сто лет состарились, и это
Тогда случилось в час один:
Короткое уже кончалось лето,
Дымилось тело вспаханных равнин.

Вдруг запестрела тихая дорога,
Плач полетел, серебряно звеня...
Закрыв лицо, я умоляла Бога
До первой битвы умертвить меня.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей — опустевшей — приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозových вестей.

Как груз отныне лишний, отодвинулся и замысел поэмы о море. В слепневском доме стоял плач. Анна Ивановна, рыдая, убеждала сына: Коля как главный кормилец в семье и к тому же белобилетник, медицинской комиссией от мобилизации освобожденный, не должен идти на войну, а Николай твердил, что запишется добровольцем. Левушка, испуганный, почему все плачут — и баба Аня, и мама Аня, и тетя Саша, жался к отцу: Николай Степанович держался так, будто ничего не произошло. Через неделю — неделю отсрочки Анна Ивановна с помощью внука выплакала-таки у сына — молодые Гумилевы уехали. Николай Степанович, проявив чудеса изобретательности (в первые дни войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем, и именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии Уланский полк. И именно в эти дни, как считала Анна Ахматова, ей был дан еще один вещий знак — как бы указание, что она не так, неправильно истолковала «приказ Всевышнего» («приказал Всевышний стать страшной книгой грозových вестей»), что война вовсе не отменила ни песен, ни страстей.

Решив устроить маленький семейный праздник в честь очередной победы Николая Степановича над обстоятельствами, они вдвоем обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг так же неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок. И хотя на этот раз ничего сверхъестественного в его появлении в неожиданном месте не было: Александр Александрович вместе с другом Евгением Ивановым обходил семьи мобилизованных для оказания им помощи, Ахматова была потрясена. Наскоро перекусив, Блок попрощался. Проводив взглядом его прямую, в любой толпе одинокую и отдельную фигуру, Гумилев сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в Слепнево. Из кипы забытых Николаем книг вынырнул и еще один номер «Русской мысли». Майский, пятый. И там тоже были стихи Блока, и тоже морские, итальянские:

С ней уходил я в море,
С ней покидал я берег...

.....
О, красный парус
В зеленой дали!
Черный стеклярус
На темной шали!

А ей уже слышалось начало ее первой поэмы:

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне.
Ко мне приплывала зеленая рыба,
Ко мне прилетала белая чайка,
А я была дерзкой, злой и веселой
И вовсе не знала, что это — счастье.

В Слепневе летом почти набело, на одном дыхании, Ахматова написала первые 150 строк поэмы «У самого моря». Она очень спешила, предчувствуя, что вернется не только в столицу другого государства, но и в другой век. И не ошиблась: Петербурга, из которого она в конце мая, спасаясь от затянувшегося удушья, убежала сначала в деревню, а потом на дачу под Киев, больше не было. Ее встретил незнакомый город, носивший иное имя: Петроград, Питер, и век был не девятнадцатый, а двадцатый, и все стало другим: и облик местности, и лица. Первым, кому она осмелилась послать еще не оконченную поэму, был Гумилев. Николай Степанович, скрывая за шутливым тоном восхищение, ответил не мешкая: «Я начинаю чувствовать, что я подходящий муж для женщины, которая “собирала французские пули, как мы собирали грибы и чернику”. Эта цитата заставляет меня напомнить тебе о твоём обещании быстро дописать твою поэму и прислать ее мне. Право, я по ней скучаю».

Догадавшись, что Николай Степанович скучает не только по недописанной поэме, Анна Андреевна поехала к нему в Новгород и успела вовремя: полк перебрасывали на передовую. Проводив в декабре мужа до Вильны, Ахматова вернулась в Царское Село и закончила поэму, как и было обещано Николаю Степановичу. Война снова сблизила их, пускай ненадолго, а все-таки сблизила. Вместе с поэмой Анна Андреевна послала мужу на фронт еще и письмо в стихах:

Будем вместе, милый, вместе,
Знают все, что мы родные.
А лукавые насмешки,
Как бубенчик отдаленный,
И обидеть нас не могут,
И не могут огорчить.
Где венчались мы — не помним,
Но сверкала эта церковь
Тем неистовым сияньем,
Что лишь ангелы умеют
В белых крыльях приносить.

А теперь пора такая,
Страшный год и страшный город.
Как же можно разлучиться
Мне с тобой, тебе со мной?

Оказалось: можно. Приехав в отпуск в сентябре 1916, Гумилев познакомился с Ларисой Рейснер, в ту пору начинающей поэтессой, и по обыкновению увлекся. Лариса, благоговевшая перед Ахматовой, смутилась, но Николай Степанович объяснил, что он и Анна Андреевна только формально муж и жена, а вообще-то давно отпустили друг друга на волю. И хотя ни Гумилев, ни Рейснер чувств не афишировали, Анна Андреевна

об этом, увы, узнала... Роман Гафиза (так Гумилев подписывал свои письма к Рейснер) с Леричкой («Леричка моя, какая Вы золотая прелесть»), как и все влюбленности Гумилева, оказался скоротечным, выдохся уже к лету 1917; в его фронтовых письмах второй половины 1917 Рейснер уже не Леричка, а Лариса Михайловна, да и он не Гафиз, а Н. Гумилев. Не думаю, чтобы эта история, при всей ее краткосрочности, ничуть не задела Ахматову. Просто она слишком хорошо знала своего мужа и понимала, что увлечение Рейснер всего лишь мужская, ревнивая и самолюбивая, реакция на ее чересчур «богатую личную жизнь».

«Все обещало мне его...»

Отец Анны, узнав, что дочь как бы разошлась с мужем, пошутил в своем духе: дескать, брак — таинство повторяющееся. Но Анна и не собиралась вступать в новый брак: ей нравилось быть героиней современной, в новом вкусе, любовной истории. Роль друга близкого, все понимающего и все прощающего, была закреплена за царско-селем Николаем Недоброво; роль друга далекого силой обстоятельств досталась школьному товарищу Николаю Владимировича Борису Васильевичу Анрепу. (Поскольку их знакомство совпало с выходом поэмы «У самого моря», Анна Андреевна считала, что сон героини морской поэмы о явлении царевича предсказал появление в ее жизни Бориса Анрепа; как заморский «царевич» он фигурирует в некоторых ее стихах.)

Николай Недоброво был эстет, поэт, интеллектуал, по образованию филолог, по убеждению классик и даже классицист. Он и красив был какой-то особенной, не современной красотой. Один из его современников вспоминал: «О, как великолепен был тогда Недоброво!.. Он был безукоризненно красив... У него была стройная, словно точеная фигурка, впрочем, вполне достаточного, почти хорошего среднего роста. Лицо, руки — все гармонировало, как в античных скульптурах».

Николай Владимирович, по натуре скорее просвещенный дилетант и коллекционер, чем «труженик пера», женившись на богатой и красивой женщине, освободил себя от необходимости зарабатывать деньги литературным трудом. Правда, в ранней юности, будучи студентом, он сделал попытку примкнуть к группе молодых литераторов, которые считали литературу делом, профессией, а не средством самоусовершенствования. Но те вмиг распознали в нем чужака. В мемуарах поэта и критика Вл. Пяста есть такой эпизод. В доме поэта Сергея Городецкого зашла как-то речь о необходимости создания поэтического кружка, по примеру художников, организовавших «Мир искусства»; идея такого кружка принадлежала Недоброво, но, когда он ушел, хозяин заявил: «Недоброво нам в кружке не нужен. Он производит впечатление, что вот-вот начнет собирать табакерки и будет говорить только о художественном качестве уников из своего собрания и ничем во всем мире не интересоваться. В тридцать лет будет сюсюкающим стариком».

Сюсюкающим стариком в тридцать лет Недоброво не стал, ему было 33, когда он опубликовал статью о поэзии Ахматовой, которую Анна Андреевна до конца жизни считала лучшей из всего написанного о ее творчестве. Ценила она и некоторые из его лирических стихотворений, может быть, даже и увлеклась, не слишком, а слегка, и так же легко разлюбила. И когда Павел Лукницкий, узнав от нее же, что стихотворение «Есть в близости людей заветная черта...» обращено к Николаю Владимировичу Недоброво, попросил сделать прозаический к нему комментарий, Анна Андреевна ответила как бы притчей: «Недоброво собирал коллекцию кружев. Я их не видела. Не хотела видеть».

В отличие от Николая Владимировича его друг Борис Анреп ни кружевами, ни табакерками не интересовался, у него было редкостное и вполне мужское хобби: правовед по образованию, он вдруг, к неудовольствию семьи, увлекся живописью и, чтобы переменить судьбу, в 1908 уехал в Париж на постоянное жительство. Уже несколько лет он пытался овладеть секретами византийских мозаик и, несмотря на весьма скромные способности, стал-таки профессиональным художником-

мозаичистом, добился признания, а со временем и крупных заказов. Фотографию одной из своих английских мозаик — изображение Анны Ахматовой на полу Лондонской национальной галереи (в 1950-х) Анреп пришлет в Ленинград, на адрес Союза писателей для передачи госпоже А. Ахматовой, и никогда не поймет, почему она не пришла в восхищение от того, что любители изящных искусств ходят по ее мозаичному лицу.

Впрочем, и в 1915 добрый малый Анреп мало что понимал и в Анне Андреевне, и в ее чувствах, и в ее стихах. Но он умел красиво и значительно молчать, не скупясь тратил командировочные червонцы и на лихачей, и на рестораны. Его простоватая мужественная статья выгодно смотрелась на фоне слишком уж изысканной, кружевной и фиалковой, красоты Николая Недоброво. Необычайно высоким ростом, жизнерадостностью, неистребимым донжуанством, странной смесью беззаботной отваги и практичности Борис Васильевич фон Анреп напоминал Анне отца, каким Андрей Антонович Горенко был в ее детские годы.

«Лихой ярославец» проживал в Англии, в Петербурге бывал редко, по служебной надобности. Как подданный Российской Империи и офицер запаса, Борис Анреп в 1915 был призван в армию, затем отозван с фронта, командирован по месту жительства, в Англию, в Лондон. В его воспоминаниях есть один загадочный эпизод: «...остался при Русском Правительственном комитете, где также встретился опять с Гумилевым, который приехал из Парижа и работал в шифровальном отделе комитета». Он дал повод английским биографам Гумилева выдвинуть предположение, что Гумилев, а следовательно и Анреп, был связан с русской разведкой и что приезд Гумилева в Лондон и не слишком в его положении приятные, однако подозрительно частые, контакты с возлюбленным жены связаны именно с этим щекотливым обстоятельством. Так это или не так, до сих пор не выяснено.

Но даже если и так, к Анне Андреевне все вышесказанное никак не относится: в суть «служебных дел» заморского гостя она не вникала. Она жила от встречи до встречи, и каждая оставляла след в памяти. О некоторых из них Ахматова рассказала Лукницкому:

«1915 год. Вербная суббота. У друга (Недоброво) офицер Бор. Вас. Анреп. Вечер. Потом еще два. На третий день он уехал. Его провожала на вокзал. Осенью пятнадцатого приехал, но не виделся с АА. Следующая встреча — в январе шестнадцатого года, январь–февраль. Обеды в ресторанах, возил, катался. Приехал так: телефон друга, пришли. 10 марта «Pirato» и по дороге назад стихотворение. Отъезд в Лондон. Письмо, открытка. Осень шестнадцатого года — приезд, встреча на вокзале... В феврале 1917 г. Приезд из Лондона. Уехал опять. Приехал в сентябре семнадцатого, уехал за несколько дней до Октябрьской революции. Пришел проститься, не застал».

В мемуарах господин фон Анреп умолчал об одном весьма щекотливом обстоятельстве. Возвращаясь весной 1917 из России в Лондон (предпоследняя встреча с Анной Ахматовой), Борис Васильевич вскружил голову жене родного брата Глеба. Жениться на ней он не мог, поскольку был женат вторым браком, однако ж не растерялся и поселил свояченицу в своем доме, на положении запасной наложницы. Не исключено, что эта история дошла до Анны Андреевны; на сей счет ее вполне могла просветить первая жена Бориса Васильевича, с которой Ахматова была в приятельских отношениях (Юнии Анреп посвящено стихотворение «Судьба моя ли так переменилась...»). Во всяком случае, летом 1917 тон стихотворных не отправленных писем Ахматовой к Анрепу необъяснимо меняется. В одном и том же месяце — июль 1917 — написаны два стихотворения и оба обращены к Борису Васильевичу:

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты,
На зеленую волну.
Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,

Но, предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездой,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

* * *

Ты — отступник: за остров зеленый
Отдал, отдал родную страну,
Наши песни и наши иконы,
И над озером тихим сосну.

Для чего ты, лихой ярославец,
Коль еще не лишился ума,
Загляделся на рыжих красавиц
И на пышные эти дома?

Так теперь и кощунствуй, и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби...

Согласитесь, чтобы назвать того, кто стал ее звездой, чванливым и самодовольным отступником, Анне Андреевне надо было или самой очень сильно перемениться душой, или узнать о любимом нечто чрезвычайное и притом сугубо личное, потому что дата написания политический подтекст отменяет; он появится позднее, после публикации открытого письма к Отступнику в левой газете «Воля народа» в апреле 1918, когда слова «отступник» и «белоэмигрант» станут синонимами. Такова биографическая основа двух тесно связанных книг Ахматовой — «Белой стаи» (1917) и «Подорожника» (1921).

«Нет, царевич, я не та...»

После выхода «Подорожника» критика заговорила о том, что Ахматова повторяется, перепевает «Белую стаю». На самом деле это просто две части романа в стихах, объединенные единством действия, места и времени, своего рода вариация на тему комедии масок, в основе которой классический любовный треугольник: Пьеро (Недоброво), влюбленный в Коломбину, Коломбина (Ахматова), влюбленная в Арлекина, и Арлекин (Анреп), Коломбиной пренебрегший. Однако традиционен он лишь в начале, на уровне завязки конфликтной ситуации. Продолжение и финал: смерть Пьеро (Недоброво умер от туберкулеза почек в 1919) и революция, навсегда разлучившая Коломбину с Арлекином («нам встречи нет, мы в разных станах») — жизнь дописала сама, сыграв, если воспользоваться классической формулой князя Вяземского, «роль писца» («где жизнь играет роль писца»).

История безответной любви дамы в лиловеющих шелках к молодцеватому офицеру — главная, но не единственная тема дилогии («Белая стая» — часть 1; «Подорожник» — часть 2); по сути дела, это малый серебряный вариант «Войны и мира» (как и в Толстовской хронике, здесь представлены: столица и усадьба, мир и война, любовь и ревность, отцы и дети, дом и семья, но с интервалом ровно в сто лет!).

Однако судьба автора, даже на том отрезке дороги жизни, что хронологически вроде бы укладывается в те же временные рамки, намного сложнее.

В марте 1915 вышел долгожданный номер журнала «Аполлон» с поэмой «У самого моря». Первый же оттиск, с нарочным, Анна Андреевна отослала Александру Блоку. Гумилев, прочитав поэму до конца, сказал те слова, которые она даже мысленно не смела произнести: ты — не просто первая поэтесса России, ты — крупный поэт. И теперь Ахматова, считая дни, ждала: будет или не будет частное определение Гумилева утверждено в «высшем совете», то есть Блоком.

Блок молчал. Ответное письмо Анна Ахматова получила... спустя год. На первый взгляд оно вполне благожелательно. Кроме широко известной общей оценки: «Поэма —

настоящая и Вы — настоящая», в тексте есть и еще несколько приятных для начинающего и не уверенного в себе автора ободряющих эпитетов. Дело, однако, в том, что долгожданное письмо написано не в 1911, когда никому не известная Горенко-Гумилева распечатывала сборник «Вечер», а весной 1916, когда имя Анна Ахматова гремело по всей России!

Ненамеренную бестактность Анна Андреевна могла бы, наверное, и простить Блоку, по врожденной, наследственной доброте. Труднее было извинить то, что дорогой, со значением, подарок пролежал непрочитанным на письменном столе педантичного и крайне аккуратного в отношениях со своими корреспондентами Александра Александровича без двух недель год. Это граничило с оскорблением, а значит, априори зачеркивало и обесценивало комплименты. Во всяком случае, из дома Гумилевых, проданного в 1916, Ахматова писем Блока с собой не взяла и опоздавшую на год поощрительную рецензию старалась не вспоминать. А главное — больше никогда не дарила Блоку своих книг. И обращенное к нему «Молитвословие» спрятала подальше в подвал памяти. По автографу, подаренному Павлу Лукницкому, оно было напечатано через много лет после ее смерти. А кто бы на месте Ахматовой поступил иначе? «Четки» Блок, не читая, переправил на женскую половину — матушке и тетушке; «У самого моря» прочитал лишь год спустя...

Рядом с этой жизнью в стихе и стихом шла другая, тоже не простая. 25 августа 1915 от ишемической болезни сердца умер Андрей Антонович Горенко. Елена Ивановна, Вторая жена отца, вызвала Анну телеграммой, как только стало известно, что положение безнадежно. Две недели, сменяя друг друга, женщины дежурили у постели умирающего. Последнее слово, которое сказал дочери отец, уже в сумеречном, полубредовом состоянии, было слово «поэзия»: «Ты... поэзия».

После похорон Анна и сама слегла, еще весной врачи поставили диагноз: обострение хронического туберкулеза; нервный стресс дал новый, осенний рецидив. Гумилев, приехавший с фронта в отпуск, переполошившись, отправил жену в санаторий Хювинккя, под Хельсинки. Судя по тому, что финны не отказали, туберкулезный очаг был незначительным: опасно больных чахоткой в фешенебельной и очень дорогой «здравнице» не принимали. Через две недели Анна умолила мужа забрать ее из «белой тюрьмы».

В январе, перед возвращением Николая Степановича в действующую армию, они, впервые зимой, побывали в Слепневе и решили: даст Бог — приедут сюда в декабре. Бог дал: под Рождество 1916 Николай Степанович неожиданно явился с фронта, и они укатили в деревню, где зимовала Анна Ивановна с Левушкой. По дороге придумали сыну новое домашнее имя: «гумильвенюк».

«Это было великолепно, — вспоминала Ахматова. — Все как-то двинулось в девятнадцатый век, чуть не в пушкинское время. Санки, валенки, медвежьи полости, огромные полушубки, звенящая тишина, сугробы, алмазные снега. Там я встретила 1917 год... А в Петербурге был уже убитый Распутин и ждали революцию, которая была назначена на 20 января (в этот день я обедала у Натана Альтмана. Он подарил мне свой рисунок и надписал: “В день Русской Революции”»).

К процитированному отрывку из «Автобиографической прозы» следует добавить одну деталь. В Слепневе супруги Гумилевы крупно повздорили — имя Ларисы Рейснер вслух не произносилось, но оба прекрасно понимали причину ссоры... Гумилев, несмотря на присутствие матери и сына, хлопнул дверью и был таков. Анна надеялась, что Коля одумается, все-таки Новый год, остынет пока доберется до станции; но не остыл, и не вернулся: роман с Леричкой был в самом разгаре!..

По возвращении в Петроград, прямо с вокзала Анна Андреевна поехала в то единственное место, где в тот страшный год и в том страшном городе еще искренне радовались гостям, к Вале Тюльпановой-Срезневской. Квартира Валиного мужа профессора Вячеслава Вячеславовича Срезневского была огромной, дом, несмотря на военные трудности, полная чаша, а Валерия Сергеевна не знала, чем себя занять. Здесь, на Боткин-

ской, 9, в мае 1917 разыщет ее Гумилев, чтобы попросить — а вдруг в последний раз? — проводить его.

Николай Степанович опять добился невозможного: заграничной служебной командировки в Русский экспедиционный корпус; а ее уговорил не сидеть в городе, а ехать в Слепнево. Анна и сама знала: кроме как в Слепневе не сможет в срок завершить работу над сборником «Белая стая». Как всегда, редактором был Михаил Лозинский. Анна Андреевна, сидя в деревне, снимала его замечания. В одном из ее августовских (1917) писем к Лозинскому есть такая фраза:

«Буду ли я в Париже или в Бежецке, эта зима представляется мне одинаково неприятной. Единственное место, где я дышала вольно, был Петербург. Но с тех пор, как там завели обычай ежемесячно поливать мостовую кровью граждан, и он потерял некоторую часть своей прелести в моих глазах».

Судя по определенности, с какой сообщается другу семьи о планах на зиму, Гумилев, уезжая (15 мая 1917), видимо, твердо обещал вызвать жену в Париж. Это было трудно, однако, учитывая способность Николая Степановича подчинять себе обстоятельства, возможно. Не исключено, что тогда же был придуман и запасной вариант: перезимовать вместе с сыном и свекровью в Бежецке. Словом, зима в Париже в обстоятельствах 1917 для Ахматовой — не заграничная прогулка, а выход из крайне затруднительной ситуации. В начале 1916 Анна Ивановна Гумилева продала дом в Царском Селе, ставший по военному времени обузой, в надежде купить какую-то «жилплощадь» в Бежецке (уездный город в нескольких верстах от Слепнева), разумно рассудив, что в провинциальной глуши старым да малым пережить смуту и голодуху легче. В результате Анна Андреевна осталась, так сказать, на улице; после смерти отца ей, кроме как у Срезневских, и переночевать-то было негде.

Конечно, ни Валя, ни Вячеслав Вячеславович неудовольствия не высказывали, но Гумилев понимал, каково Анне, при ее-то гордости, чувствовать себя и премного обязанной, и очень уж связанной порядками чужого монастыря. Именно поэтому, женившись, он сразу же выдал Ахматовой личный вид на жительство и положил две тысячи рублей на ее имя в банк, чтобы чувствовала себя и независимой, и вполне обеспеченной. Пока Гумилев воевал на Западном фронте в 1915–1916, Анна Андреевна как жена офицера получала деньги по аттестату ежемесячно. Но что будет теперь, после Февральской революции?

В октябре 1917, уже из Франции, добившись в лондонском, главном Русском комитете по координации отношений с союзниками назначения в Париж в распоряжение военного представителя Временного правительства, Гумилев пишет Ахматовой: «Через месяц, наверно, выяснится, насколько мое положение здесь прочно. Тогда можно будет подумать и о твоём приезде сюда».

Через месяц, увы, выяснилось, что о приезде в Париж Анны Андреевны и речи быть не может. Во-первых, произошла Октябрьская революция, отменившая полномочия Временного правительства, а во-вторых, оказавшись в состоянии полной бесперспективности, Николай Степанович выдумал себе и утешение, и занятие: очередную высокую любовь к русской парижанке — девушке с газельими глазами (цикл «К Синей звезде») и, по обыкновению, надолго замолчал. Впрочем, даже если бы он и хотел дать о себе знать, сделать это было уже невозможно... Из-за полного равнодушия к политике Гумилев был уверен, что большевики долго продержаться у власти не смогут.

Вскоре «Синяя звезда» вышла замуж за богатого американца, Николай Степанович перебрался в Лондон, видимо, в надежде зацепиться за что-нибудь попрочнее, чтобы все-таки выполнить данное жене обещание — увезти ее из России. Найти работу не удалось, слишком много собралось в Лондоне русских офицеров в подобном же положении. Анреп уговаривал Николая Степановича остаться, осмотреться, подождать, не совать добровольно голову в большевистский капкан...

Но в апреле 1918 Гумилев вернулся в Россию. Ни Анну, ни мать бросить на произвол судьбы, при всем своем эгоизме, он не мог. Жену нашел там же, где и оставил год

назад, на Боткинской улице, у Срезневских. Пришел, чтобы передать привет и подарок от Анрепа: «прекрасно сохранившуюся монету времен Александра Македонского». Кроме монеты, Борис Васильевич как человек практичный всучил Гумилеву «шелковый материал на платье». Монету Николай Степанович довез, а пакет с материалом сунул в первую же попавшуюся «мусорку». На Боткинской состоялось их последнее объяснение. Анна Андреевна, не называя причин, попросила у мужа развод. Валерия Сергеевна, со слов подружки, рассказывала об этом событии так:

«...Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: “Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что хочешь”. Встал и ушел».

В дневнике Лукницкого записана более пространная версия, из которой следует, что Гумилев все-таки спросил: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» АА ответила: «Да». — «Кто же он?» — «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко». Но Анна Андреевна повторила, что всерьез собирается замуж за лучшего друга Николая Степановича и даже дала Шилейке слово.

По всей вероятности, Гумилев все-таки решил, что жена просто наказывает его за Парижские грехи, а заодно, задним числом, и за роман с Ларисой Рейснер. Поехали вместе к Шилейке. Вольдемар Казимирович заверил друга, что все именно так, как говорит Анна: они решили вступить в законный брак, и она дала ему слово. Однако и после «очной ставки» Гумилев, видимо, продолжал сомневаться в серьезности происходящего: он слишком хорошо знал Шилейку и понимал, что ничего надежного и основательного союз с ним Анне не обещает.

Ситуация сильно осложнялась еще и тем, что отговаривать жену Николай Степанович не считал возможным. Во-первых, Шилейко был другом, а во-вторых, после того, как он сам вместе с Лозинским долго и настойчиво уверял жену, что Вольдемар гениальный ученый, говорить теперь, что патент на гениальность Шилейке выдан с расчетом на вырост, было по меньшей мере неэтично. Впрочем, надеяться, что она одумается, Гумилев, видимо, не переставал: в начале лета 1918, на Троицу, они вдвоем с Анной Андреевной поехали в Бежецк, где теперь, после «экспроприации» Слепнева, Анна Ивановна Гумилева жила не только зимой, но и летом. Добирались долго, с приключениями. Гумилев был явно расстроен, но разговоров на щекотливую тему не заводил. И только утром, когда сын, проснувшись, разбирает привезенные отцом из Англии диковинные игрушки, а они молча глядели на него, внезапно поцеловал Анне Андреевне руку и сказал, уже не скрывая грусти: «Зачем ты все это выдумала?»

«Не бывать тебе в живых»

Зачем она это выдумала? На этот вопрос Анна Ахматова ни себе, ни друзьям так никогда вразумительно и не ответила. Ответить — значило признаться в том, что в тот летний день, в Бежецке, ее держало и удержало не чувство к Шилейке, а всего лишь данное ему слово, и не добровольно, а под нажимом данное. В год гибели Гумилева (1921), на Рождество, Анна Андреевна поехала в Бежецк. В Рождественские дни ей всегда хотелось быть с родными; когда Инна Эразмовна и младшая сестра Ия жили в Киеве, Ахматова старалась провести свой самый любимый праздник с ними, но теперь мать и сестра бедовали и голодали в Крыму, туда в тот год и письма не доходили.

В Бежецке было тихо, здесь люди старались жить так, будто ничего страшного не случилось. Анна Андреевна расспрашивала свекровь о том, о чем не успела спросить, пока Николай Степанович был жив, — о его детстве, отрочестве. Анна Ивановна рассказывала скупно и строго, но легко; после отъезда, фактически бегства старшего сына Мити за границу, кроме как с Анной Андреевной, ей не с кем было выговорить боль. Анна хотела войти в ту комнату, где три года назад она и Николай Степанович радовались радостью своего гумильвенка, получившего в подарок новые игрушки. И не вошла.

Не смогла войти. Из всех написанных на смерть Гумилева стихов «Бежецк» — самое пронзительное:

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.

Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;
И город был полон веселым рождественским звоном.

Напомним: Аня Горенко познакомилась с Колей Гумилевым под Рождество 1903. И ни он, ни она никогда об этом не забывали. В ночь на 27 декабря 1940 придет к Ахматовой «Поэма без героя». Под траурный марш Шопена. Гумилев говорил, и говорил твердо, что умрет в 53 года. Не раньше и не позже. Он и ее научил верить «умным числам» — «потому что все оттенки смысла умное число передает». И если бы в этот гороскоп не вмешались силы иного порядка, это была бы первая годовщина их вечной разлуки...

Вступление к поэме Ахматова также отметит роковым и тоже гумилевским числом: 25 августа 1941. (Гумилев был расстрелян 25 августа 1921.) Разогнав всех явившихся в Фонтанный Дом в ночь под Рождество ряженных — «краснобаев и лжепророков», всех, с кем героине «не по пути», она ждет «гостя из будущего»; он, правда, не герой, «не лучше других и не хуже», но он — живой, единственный, от кого «не веет летеиской стужей». Она ждет гостя, она вся в ожидании: «неужели придет... в самом деле, повернув налево с моста?» И тут обнаруживает, что не одна, что незвано явился и тот, кто «как будто» не значился «в списках» приглашенных и тем не менее пришел, ибо не мог не прийти.

Живому Гумилеву Ахматова не могла простить страсти к «перемене мест», называла «вечным бродягой», не любила и его африканской и восточной экзотики, ей казалось, что стихи мужа размалеваны «пестро и грубо». Мертвому простила все, даже странный, невыносимый в семейной жизни нрав:

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.

И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем...
Поэтам
Вообще не пристали грехи.

Увы, для того чтобы получить отпущение грехов, «вековой собеседник луны» (Анна Ахматова неоднократно говорила, что все стихи Гумилева, где упоминается луна, посвящены ей) должен был погибнуть. А в 1918 вернувшийся из Лондона в большевистский Питер Николай Степанович вместо «индальгенции» и награды «за храбрость» получил язвительное и мстительное предложение: оформить прекращение брачных отношений официально...

Как только пришли разводные бумаги, 5 августа того же 1918, Шилейко под предлогом срочной служебной надобности поспешил увезти Анну Андреевну в Москву, чтобы, не дай Бог, не передумала! Командировка Вольдемара Казимировича, как и громкий мандат, полученный им от Петроградского отделения революционного правительства, была не то чтобы полной липой, однако от постоянного голода не спасала.

Вернулись в Петроград. Под крыло Максима Горького. Пользуясь своей славой «буревестника революции», Алексей Максимович организовал в Петрограде комиссию

по оказанию помощи работникам науки и культуры. Лошадь, которая развозила по квартирам пайки тем, кто уже не мог добраться до раздаточного пункта, Анна Андреевна называла «горькой лошадей» («Вот едет горькая лошадь...»). Ни ей, ни Шилейко в 1919 горьких пайков не досталось: в Петроградском университете Вольдемар числился студентом, хотя и вел спецкурсы по клинописным языкам. И тем не менее в Питере умереть им не дали: сначала слегка подкормила подруга, Наташа Рыкова, у ее отца, ученого-агронома, была опытная ферма в окрестностях Царского Села, затем в борьбу по спасению голодающей Ахматовой решительно включилась Лариса Рейснер, ставшая к той поре женой красного флотоводца Раскольниковца.

Некоторое время Анна Андреевна, уже поняв, что ошиблась в выборе законного мужа, все-таки пыталась делать хорошую мину при плохой игре. Убедив себя, что Шилейко, несмотря на все свои странности, большой ученый, перебеливала его мудреные рукописи, писала под диктовку, кормила, лечила, добывала одежду и обувь, выгуливала его собаку. И даже не без гордости говорила друзьям, что сидит дома и нигде не бывает только потому, что Володя не позволяет.

Георгий Чулков, встретив как-то Анну Андреевну у Ольги Судейкиной (Ольга жила по соседству, и до нее «пленница» при редких служебных отлучках своего «тюремщика» иногда все-таки добиралась), в полном недоумении писал жене: «Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья... Она, по рассказам, в каком-то заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе».

Гумилев, когда до него дошли слухи, что бывший лучший друг умудряется держать его бывшую жену на коротком поводке, подумал, что его дурачат. Вообще-то Николаю Степановичу, может быть впервые со дня их знакомства, было не до Анны Андреевны: чтобы прокормить мать, сына, а также новую молоденькую жену и нового ребенка, он крутился как белка в колесе: работал у Горького в издательстве «Всемирная литература», переводил Готье и Бодлера, читал лекции в Институте искусств, преподавал технику стихосложения молодым поэтам, в том числе и пролетарским, организовывал вечера и даже какие-то маскарады.

В 1921, незадолго до ареста (по делу о контрреволюционном заговоре во главе с профессором Таганцевым), умудрился пробраться в полубелый Крым, разыскал мать Анны, от нее и узнал о смерти (самоубийстве) брата Андрея. С этой вестью (в июле 1921) и явился к Анне Андреевне, захватив на всякий случай приятеля, молодого поэта Георгия Иванова: о том, что Вольдемар Казимирович ревнует жену даже к дворнику, приносящему дрова, Гумилеву, естественно, уже донесли. Впрочем, такое за своим полубезумным дружкой он давно знал, но чтобы Анна позволила какому-то Шилейке командовать: позволять-запрещать? Она же всегда делала только то, что хотела!

На самом-то деле Анна Андреевна только потому и своевольничала, что ей все и всё всегда позволяли. Впервые встретив запрет, она растерялась и спасовала... Короче, разговора по душам, на что, видимо, рассчитывал Николай Степанович, не вышло... Анна Андреевна была слишком подавлена известиями из Крыма — и о смерти Андрея, и о бедственном положении матери и сестры. Все эти подробности известны из воспоминаний Георгия Иванова; память самой Ахматовой сохранила только финал (записано в Дневнике Лукницкого):

«АА повела Гумилева и Г. Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, АА сказала: «По такой лестнице только на казнь ходить...»

В поэзии Ахматовой именно эта встреча с Гумилевым (7 или 8 июля) отразилась как последняя:

От меня, как от той графини,
Шел по лесенке винтовой,
Чтоб увидеть рассветный, синий
Страшный час над страшной Невой.

В действительности же в последний раз Анна Андреевна и Николай Степанович встретились 11 июля 1921 на вечере издательства «Петрополис», только что выпустившего маленький, изящный (и обложку, и издательскую марку, и фронтиспис выполнил М. Добужинский) ахматовский сборник — «Подорожник» (тираж 1000 экземпляров), а на подходе были в том же «Петрополисе» «Anno Domini MC-MXXXI» (октябрь 1921, тираж 2000 экземпляров) и в «Алконосте» отдельное издание поэмы «У самого моря» (декабрь 1921, тираж 3000 экземпляров).

Словом, 11 июля 1921, несмотря на революцию, разруху, нищету и почти голод, у Анны Андреевны были основания с торжеством вспоминать сказанные Николаем Степановичем слова — ей и о ней: «Ты победительница жизни». Она действительно чувствовала себя победительницей жизни, она ведь даже из домашнего застенка, в который ее собирался заключить Вольдемар Казимирович, убежала. Как только увидела, что «мудрец и безумец» разжигает самовар рукописью «Подорожника». Как только поняла, что при всех своих гениальных задатках ассириолог с европейским именем элементарно, по-житейски «дурной человек»

...Но винтовая лестница, по которой в погожий июльский вечер уходил Гумилев, и ее невеста из каких интуитивных потемок вырвавшиеся слова: «По такой лестнице... только на казнь...» «вынули из памяти» вечер злого ее торжества. Даже тогда прожектор памяти не высветит его во мраке забвения, когда несколько лет спустя Анна Андреевна разыщет среди оставшихся неопубликованными произведений Гумилева посвященные ей предсмертные его стихи, наверняка после презентации «Подорожника» набросанные:

Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознание
Застлавший, как туман кровавый
Схватившему в ярости за нож;

Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шелесте травы...

И только в старости, уже перед самым закатом, Анна Андреевна все-таки вспомнит, что была, оказывается, и еще одна встреча с Николаем Степановичем и что вторая — другая — ее жизнь началась именно в июле 1921, когда она, празднуя победу, не заметила, как подкрался страшный август...

В ночь на 4 августа арестован Гумилев.

7 августа умер Блок.

10 августа на Смоленском кладбище, в день похорон Блока, Ахматова узнает об аресте Николая Степановича.

16 августа написано стихотворение «Не бывать тебе в живых...».

25 августа без суда и следствия, по приговору ревтрибунала расстрелян Н.С. Гумилев. Похоронен в общей могиле.

1 сентября Анна Андреевна прочла о массовом расстреле якобы участников контрреволюционного заговора во главе с профессором Таганцевым в расклеенной на стенах вокзала в Царском Селе петроградской газете.

15 сентября она, навсегда скинув, как змеиную кожу, лиловою шелка, простилась с собою прежней — той, «какою была когда-то», — до августа 1921:

Заплаканная осень, как вдова	И будет так, пока тишайший снег
В одеждах черных, все сердца туманит...	Не сжалится над скорбной и усталой...
Перебирая мужнины слова,	Забвенье боли и забвенье нег —
Она рыдать не перестанет.	За это жизнь отдать не мало.

Часть третья ДРУГАЯ ЖИЗНЬ

«От тебя я сердце скрыла»

С наступлением нэпа, к середине 20-х годов, жизнь стала чуточку и сытнее, и чище, и наряднее, но Анну Андреевну общее улучшение бытовых условий почти не коснулось. Расставшись с Шилейко, она еще несколько лет продолжала жить в доме, который хотя и носил громкое музейное имя: Мраморный дворец, для жилья был совершенно не приспособлен. Не было ни кухни, ни водопровода. Даже свет здесь включали намного позже, чем везде, после того, как окончательно стемнеет.

Рассказывая Лукницкому историю скоропалительного брака с гениальным ученым, Анна призналась, что выходила замуж как если бы в монастырь шла — чтобы очиститься. Ни монастыря, ни рая в мраморном шалаше не получилось, вместо монастыря она оказалась в тюрьме чуть ли не домостроевской постройки и самого строгого домашнего режима, из которого узница любви и ревности совершала побеги, чтобы повидаться с подругой, именно как из тюрьмы — пролезая в собачью щель под воротами. И тем не менее Анна Андреевна сохранила к мимолетному попутчику благодарность «за то, что в дом свой странницу впустил».

Что-то похожее она, наверное, могла бы сказать и о Николае Николаевиче Пунине. во всяком случае в начале их совместной жизни. Время было такое, что кров и хлеб можно было делить «только с милым и непреклонным». А Пунин в ту пору был и мил, и в своем решении никуда не отпускать волею случая прибывшую к его очагу странницу непреклонен. Женился он рано, на женщине доброй, работающей, нежно любил маленькую дочь Ирину. Но чувство его к Анне Андреевне было совсем иным, тут многое смешалось: и восхищение, и зависть, и что-то еще, чему он не знал имени... Точнее всех о том, чем было для него то время, когда Анна Андреевна была с ним, написал сам Пунин во время войны, когда они уже навсегда, навеки расстались:

«Увидеть Вас когда-нибудь я не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и вместе с тем гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь ценна не волей — и это мне казалось особенно ценным — а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит... многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным».

Пунин и Ахматова, почти ровесники, как и все царскоселы, были знакомы с давних пор, а подружились в самую мрачную пору жизни Ахматовой, жизни без завтрашнего дня, в чужом доме, среди чужих вещей и по чужому нравственному закону, когда Анна Андреевна после смерти Гумилева жила у подруги — актрисы, плясуньи, затейницы — Ольги Судейкиной (один из прообразов первой красавицы «Поэмы без героя» — Путаницы, Психеи, «Коломбины десятых годов»). Ольга, обожавшая Анну, охотно уступила ей часть жилплощади, которую делила с очередным из своих мужей — молодым, но уже почти «знаменитым» композитором Артуром Лурье. Музыка в те годы, естественно, не кормила, и Артур служил в секретариате А. Луначарского. В 1922 по служебной надобности его откомандировали в Берлин. Уже решив, что в Советскую Россию не вернется, Лурье настойчиво звал с собой и Ольгу, и Анну. С последней у него был роман. Ольга в конце концов уехала и благополучно добралась до Парижа. Анна со своего места не сдвинулась.

Лурье любил женщин, но его любовь была особого рода. Он был из тех, кто нежно заботится обо всех своих возлюбленных. Уезжая, он по-дружески попросил приятеля Николашу Пунина — больше просить было некого — присмотреть за Оленькой и Аннушкой. О «Коломбине десятых годов» заботиться не пришлось, а Анна так и осталась на его руках...

Квартира Пуниных, расположенная в бывшем садовом домике городской усадьбы графов Шереметевых, так называемый Фонтанный Дом, была тоже как бы дворцовой, но гораздо комфортабельней музейной трущобы Шилейки. После революции последний из владельцев исторической усадьбы Сергей Шереметев передал ее вместе со всеми коллекциями в дар народу. Нарком Луначарский распорядился объявить Фонтанный Дом филиалом Русского музея; Н. Пунин, как сотрудник этого музея, в начале 1920-х получил четырехкомнатную квартиру на третьем этаже одного из жилых флигелей. Сюда Николай Николаевич (третий из моих Николаев — как в шутку называла Пунина Ахматова) в конце концов уговорил переехать насовсем и Анну Андреевну.

В Пунине она, видимо, нашла то, что напрасно искала в Шилейке: надежное постоянство, рабоче-семейную, а не богемную жизненную установку, словом, то, что когда-то, в дни ее детства, называлось старомодным словом «порядочность». Пунин и впрямь был человеком порядочным, но именно в силу порядочности, помноженной на бесхарактерность, связал свою жизнь с жизнью Ахматовой, не только не разойдясь официально с прежней женой, но как бы и не уходя из семьи.

Анна Андреевна бытовала в его квартире на заведомо ненатуральных условиях: вносила в семейный бюджет Пуниных «кормовые деньги», не мешала законной супруге Николая Николаевича в родственных кругах по-прежнему числиться и представлять в качестве мадам Пуниной. Ахматова, как только поняла, что сложившееся положение — не временное затруднение, а способ существования — *modus vivendi*, пыталась, и не однажды, изменить ситуацию: найти работу и получить пусть скромную, но свою жилплощадь, и каждый раз Николай Николаевич находил ее, заявлял, что без нее не может работать, а если он не будет работать, то все семейство погибнет от голода. И Анна Андреевна возвращалась, и они все: и Пунин, и его официальная, по документам, жена, и дочь — делали вид, что так и надо.

Что же касается друзей Анны Андреевны, то они, похоже, придерживались правила: в доме повешенного не говорят о веревке. Зато уж недруги были в восторге: наконец-то они получили вечный сюжет для злословия. Чем она могла защититься? Стихами?! Слабая защита... Но Ахматова все-таки защищалась, используя единственный вид оружия защиты, какой пока еще исправно служил ее Музе:

И всюду клевета сопутствовала мне,
Ее ползучий шаг я слышала во сне
И в мертвом городе под беспощадным небом,
Скитаясь наугад за кровом и за хлебом.

«Скитаясь наугад за кровом и за хлебом» — не жалоба. Это точная, скупая и бесслезная констатация нагой, низкой истины. После катастрофы 1921, когда один за другим ушли — «забыв» ее «на дне» — брат Андрей, Блок, Гумилев, она осиротела. «Меня как реку суровая эпоха повернула», — скажет о себе Ахматова на пороге старости. Но прежде чем повернуть и при повороте надеть новым полноводием сил и чувств, эпоха заставила ее пережить мучительное для поэта такой творческой энергетики обмеление. Это не стало полным высыханием источников («водопадов») поэзии, это было именно обмеление, и прежде всего обмеление или оскудение эмоциональное. После 1921 и внутренняя, духовно-душевная, и внешняя жизнь Ахматовой надолго, на целых пятнадцать лет, укладывается в простенький анкетный сюжет: в 1922, де-факто разойдясь с Шилейко, на полтора десятка лет «сошлась», как говорили в те простые, как мычание, времена, с Николаем Николаевичем Пуниным. В 1936, незадолго до окончательного разрыва и после почти десятилетия немоты (с 1923 по 1935 Ахматова написала всего двадцать стихотворений), она создаст такие, обращенные к Пунину стихи:

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву...
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоём живу.

Только... ночью слышу скрипы,
Что там — в сумраках чужих?
Шереметевские липы...
Переключка домовых...
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он — твой уют?»

В дни разрыва почти все обычно произносят много несправедливых слов. Ахматова не исключение. Однако о своем гражданском браке с Пуниным она и в конце жизни говорила то же самое: «И пятнадцать блаженнейших весен я подняться не смела с земли», а «стихи стояли за дверью», как выставленная уличная обувь, и дожидались, когда же потребуется хозяйке ее уникальный дар... Нет-нет, Пунин в отличие от Шилейки не разжигал ни самовара, ни печки рукописями ахматовских стихов. И двери его дома были широко распахнуты для всех знакомых Акумы (домашнее прозвище Анны Андреевны).

Больше того, при всем том что бытовали они в бедности, куда беднее, чем многие в их кругу, все-таки и Пунин, и его законная жена, врач по профессии, ежемесячно получали зарплату, с некоторыми перерывами получала пенсию по болезни и Ахматова, правда, половину тут же отправляла в Бежецк — сыну и свекрови, а часть второй делила между своей матерью и собакой Тапом — Шилейко таки бросил своего пса. Оставалась от пенсии суцкая малость: на самые дешевые папиросы и трамвай. Очень часто Анна Андреевна отказывалась и от публичных выступлений, и от приглашений и контрамарок в театр просто потому, что ей нечего было надеть. Однажды она потеряла туфлю от единственной «выходной» пары — выронила из муфты, доставая мелочь, и эта потеря чуть ли не на год стала главной причиной ее затворничества.

И тем не менее по сравнению с бездомьем 1917–1922 квартира Пуниных в садовом флигеле Шереметевского дворца была пусть и не совсем своим, но обиталищем. Впрочем, Анна Андреевна никогда не называла ее блаженным словом «дом»! Всегда: Фонтанный Дом. Именно так — и с большой буквы: Ф и Д. Она и Пунину никогда не говорила «ты», так же как и он — ей. Вы, Николай Николаевич... Вы, Анна Андреевна... И даже если — Аня, все равно: Вы. Отчуждение вызывалось, видимо, еще и тем, что Николай Николаевич не признал сына Анны Андреевны ребенком своего дома, а Анна Андреевна из гордости обходила этот крайне болезненный «пункт» их брачного договора молчанием.

Считалось, что Леве лучше, а главное, безопаснее жить подальше от столицы, к тому же нельзя отнять у Анны Ивановны Гумилевой ее единственную, после преждевременной смерти сыновей (Дмитрий умер в сумасшедшем доме спустя год после расстрела Николая), отраду. Однако когда старшая (сводная) сестра Николая Степановича А. Сверчкова, жившая с мачехой в Бежецке, из тех же соображений предложила усыновить Льва Гумилева — дескать, и учиться в вузе, и работать под фамилией Сверчков безопаснее, чем под фамилией Гумилев, — Анна Андреевна наотрез отказалась. Пунин же столь естественного в сложившейся ситуации варианта ей никогда не предлагал. Между тем сама Ахматова относилась и к его дочери Ирине, а потом к внучке Ане как к своим детям. И это, судя по всему, сильно осложняло отношения: между сыном и матерью — явно, между Ахматовой и Пуниным — подспудно... И думается, не случайно окончательный разрыв (сентябрь 1938) между ними произошел вскоре после ареста Льва Николаевича в марте 1938.

«И не проси у Бога ничего»

Словом, уют в доме Пуниных не было не только потому, что семейные узы, связавшие людей, деливших кров Фонтанного Дома, были ненатуральны и потому «не нравились» домовым Шереметевского дворца. Беда, голос которой слышится лирической героине стихотворения «От тебя я сердце скрыла...» в ночном шорохе и шелесте старых петербургских лип, — не только несложившаяся личная жизнь (одиночество вдвоем). И «черный шепоток» ее Анна Андреевна впервые расслышала не в 1936, и не в 1917, и даже не в 1921, а гораздо раньше, может быть в 1905, в тот миг, когда «кто-то “Цусима!” сказал в телефон»? В том же 1905 приехал к ним в Царское Село из города студент-репетитор, он попал в обезумевшую толпу, которую расстреливали гвардейцы царя-батюшки... Молодой человек рассказывал, что делалось в столице в «Кровавое воскресенье» 9 января 1905, и «руки у него дрожали»...

Уже тогда, в ранней юности, Ахматова, думаю, поняла, не разумом, а мощным, почти звериным инстинктом: чтобы выжить в эпоху войн и революционного террора, как красного, так и белого, надо научиться жить ничего не имея — в благословенной нищете, освободившись от чувства собственности и все свое нося с собой и в себе. Не потому ли с такой легкостью раздавала-раздаривала все: вещи, деньги, книги, рукописи, — как если бы это был не только лишний, но и опасный груз? Все ее имущество помещалось в маленьком ящичке-укладке, а было там: новгородская икона (единственный сохранившийся после бездомья подарок Гумилева), легендарные четки, еще несколько маленьких иконок, старая сумочка, знаменитый испанский гребень. И все.

Земной отрадой сердце не томи,
Не пристращайся ни к жене, ни к дому.
У своего ребенка хлеб возьми,
Чтобы отдать его чужому.
И будь слугой смиреннейшим тому,
Кто был твоим кромешным супостатом,
И назови лесного зверя братом,
И не проси у Бога ничего.

(1921)

Поразительна здесь переключка с «Кобыльими кораблями» Есенина: более согласного дуэта в поэзии тех лет не найти:

Звери, звери, приходите ко мне
В чашки рук моих злобу выплакать!

.....

Сестры-суки и братья-кобели,
Я, как вы, у людей в загоне.

.....

Все познать, ничего не взять
Пришел в этот мир поэт.

Написанная осенью 1919 поэма Есенина была впервые опубликована в коллективном сборнике имажинистов «Харчевня зорь» в 1920, затем перепечатана в авторской «Трияднице» (два издания — 1920, 1921). Эта книга получила широкую прессу, особенно в 1921. Так что у нас есть все основания предполагать, что приведенное выше стихотворение Ахматовой совсем не случайно переключается с «Кобыльими кораблями».

И все-таки: пока в «черном шепотке беды» отчетливо не прозвучало имя сына: Лев Гумилев, существование было относительно сносным. Да, конечно, идеологическое совещание 1925, зачислившее ее, как и Есенина, в «попутчики», не способствовало вдохновению. Анна Андреевна считала его, и совершенно справедливо, приговором к гражданской смерти. И все-таки, повторю, в сравнении с тем ужасом, в какой волею «кремлевского горца» будет ввергнута и вся страна, и лично Анна Ахматова в эпоху

«большого террора», когда Льва Николаевича Гумилева военный трибунал Ленинградского военного округа приговорит как врага народа к 10 годам лишения свободы, ситуация 1925–1934 выглядит почти благополучной. Разумеется, Ахматову как представительницу старого мира решительно отодвинули на обочину жизни. В том числе и жизни литературной.

Однако Пунин как раз в эти годы из подающего надежды «писателя по вопросам изобразительного искусства» становится крупным музейным деятелем и известным искусствоведом. Литературная общественность Ленинграда и прежде всего Н. С. Тихонов лично к Анне Андреевне относится с величайшим пиететом. За нее горой стоит давний поклонник ее уникального таланта А. Н. Толстой, вошедший в обласканную руководством СССР и лично Сталиным художественную элиту.

Осенью 1924 к Ахматовой как к вдове Николая Степановича пришел Павел Лукницкий, студент Ленинградского университета, выбравший для диплома поэзию казненного Гумилева. Целых четыре года, забыв о страхе перед всевидящим оком НКВД, они вдвоем собирают и систематизируют материалы к жизненной и творческой биографии поэта, опрашивая знавших «антисоветского» заговорщика питерских и московских литераторов, и те охотно рассказывают о встречах с Николаем Степановичем. Это кажется невероятным, и тем не менее все было именно так.

Об осужденной на гражданскую смерть поэтессе пишут, и не просто статьи, а серьезные исследования, столпы советского литературоведения: В. Виноградов, В. Жирмунский, Б. Эйхенбаум. Больше того, ее собственные работы о Пушкине не только публикуются в авторитетных изданиях, но и получают лестные оценки влиятельных пушкинистов. В 1933 ленинградский журнал «Звезда» напечатал статью Ахматовой «Последняя сказка Пушкина», в 1935 Анна Андреевна сдала во «Временник Пушкинской комиссии» исследование «“Адольф” Бенжамена Констан в творчестве Пушкина» (вышел в предъюбилейном 1936). Ее стихи переводят на английский и немецкий, и это не считается преступлением, предполагающим общественное осуждение.

В чем же дело? Почему Ахматовой так долго позволялось то, что не сходило с рук даже всеобщему баловню Сергею Есенину? Думается, дело в том, что ее поэзия никак не укладывалась ни в антисоветскую схему, ни в ортодоксальный канон. В творческой судьбе Ахматовой было нечто, резко выделявшее ее среди писателей Серебряного века, кто художественно самоопределился до октября 1917. Все они, от Блока и Бунина до Есенина и Маяковского, восприняли революцию как явление тектонической силы, разломившее их творчество на «до» и «после».

В поэзии Ахматовой 1917–1920 следы такого разлома почти незаметны, «Белая стая» и «Подорожник» воспринимаются как естественное продолжение «Четок». Не находя ни кровоточащей раны, ни рваного рубца, ни трагической — через сердце поэта — трещины там, где по всем диагностическим показаниям должен быть революционный перелом, критика левого толка делает вывод о социальной индифферентности автора, тогда как эмигранты, наоборот, подозревают давшую зарок молчания непримиримую «контрреволюцию» и поражаются: как же при таком настрое Ахматова могла написать отповедь тем, кто «бросил землю»?

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам.
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

Но вечно жалок мне изгнанник,
Как заключенный, как больной.
Темна твоя дорога, странник,
Польнью пахнет хлеб чужой.

А здесь, в глухом чаду пожара,
Остаток юности губя,

Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.

И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час...
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.

Не меньше загадок загадывала Ахматова и тем своим читателям, которым очень хотелось видеть в ее поэзии чуть ли не образец патриотического искусства. Ну как при подобной сверхзадаче истолковать, к примеру, такую вот сцену из народного великорусского быта эпохи великих потрясений?

Пива светлого наварено.
На столе дымится гусь...
Поминать царя да барина
Станет праздничная Русь —

Крепким словом, прибауткою
За беседу хмельной;
Тот — забористою шуткою,
Этот — пьяною слезой.

И несутся речи шумные
От гульбы да от вина...
Порешили люди умные:
Наше дело — сторона.

«Мне он единственный сын...»

Когда-то Н.С. Гумилев сказал полушутя-полусерьезно: «С тобой по-мудреному возиться теперь мне не в пору...» Что-то вроде этого говорила и пролетарская критика: и возиться не стоит с этим старомодным старьем... После триумфа 1921, когда шесть тысяч ее книг, несмотря на холод и голод, вмиг исчезли с книжных прилавков, быть забытой и критикой, и читающей публикой для поэта, находящегося в полном расцвете творческих сил, тяжело. И тем не менее до 1933 шереметевские липы так страшно не шелестели.

Но вот в 1933 сына Ахматовой Льва Гумилева, уже переехавшего в Ленинград и собиравшегося поступать в университет, впервые арестовали. И сам Лев Николаевич, и Пунины, и все ахматовское окружение были убеждены, что произошло недоразумение: ведь молодого человека через несколько дней выпустили, выяснив, что в подозрительной квартире он оказался совершенно случайно. А вот Анна Андреевна в случайность даже в том, пока еще относительно спокойном году не поверила.

В 1933, после четырехлетнего молчания, она вдруг пишет стихотворение «Привольем пахнет дикий мед...», которое можно с полным основанием рассматривать как предчувствие будущего «Реквиема». Первый, как бы пробный, арест сына и знак гибельности на его «еще безмятежном челе» заставил ее «подняться с земли» и заговорить во весь голос о самом страшном, причем в то время, когда другие, куда более смелые, более влиятельные и политически ангажированные, литераторы «мужского полу» замолчали. По свидетельству Эммы Герштейн в документальной повести «Лишняя любовь», и Осип Манделштам, и его сверхбдительная жена, и все вокруг них «были как никогда далеки от мысли о почти неминуемом событии» даже за несколько дней до его ареста. Все — но не Анна Андреевна.

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль — солнечным лучом,
Фиалкою — девичий рот.
А золото — ничем.

Водою пахнет резеда,
И яблоком — любовь,

Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь...

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома...

В следующем, 1934, Анна Андреевна напишет стихотворение «Последний тост», вроде бы спровоцированное личными неурядицами с Луниным. Однако строка о предательстве — «За ложь меня предавших уст», на наш взгляд, связана не только с тем, что в жизни Николая Николаевича появилась влюбленная в него то ли студентка, то ли аспирантка. Да и Пунин, судя по его письму, прекрасно понял, в каком предательстве его обвиняют: «Я и о Леве тогда много думал, но об этом как-нибудь в другой раз — я виноват перед ним». В чем конкретно был виноват Николай Николаевич перед своим — по долгу совести — пасынком, мы не знаем. Но Лев Николаевич ни матери, ни ее мужу этой вины, по-видимому, не простил.

К столетию со дня рождения Анны Ахматовой корреспондент журнала «Звезда» взял у Льва Николаевича интервью. Начали с истории четырех его арестов. О первом, в 1933, Гумилев рассказывал легко и даже с юмором. А вот о втором, в октябре 1935, высказался так:

«Тогда шла в Ленинграде травля студентов из интеллигентных семей... В числе арестованных оказался и Николай Николаевич Пунин, искусствовед, сотрудник Русского музея. Мама поехала в Москву, через знакомых обратилась к Сталину, с тем чтобы он отпустил Пунина... Вскоре освободили нас всех, поскольку был освобожден самый главный организатор “преступной группы” — Н.Н. Пунин... Правда, меня после этого выдворили из университета, и я целую зиму голодал...»

Легкость, с какой в 1935 Анне Андреевне удалось передать (с помощью «лучших людей советского искусства»), почти что в собственные руки, через личного секретаря) письмо Сталину с просьбой об освобождении мужа и сына, которых тут же, чуть ли не на следующий день, действительно освободили, видимо, произвела сильное впечатление на Льва Гумилева. Анна Андреевна давно заметила, что по складу ума и тому, что Пушкин называл соображением понятий, сын похож на отца: та же невероятная способность глядеть и видеть далеко и не замечать близкое, тот же политический «идиотизм», помноженный на какое-то «самоуверенное мужество»... И когда его арестовали в третий раз, 10 марта 1938, и Ахматова уже ничего не смогла для него сделать, кроме как молча выть, стоя на общих основаниях в очередях с передачами у тюрьмы предварительного заключения, и, леденея от ужаса, ждать приговора, решил, что на этот раз мать просто не очень старалась; если бы, дескать, взяли и ее муженька, наверняка действовала бы иначе — так, как три года назад. Поверить, что в 1938, в разгар «большого террора», сделать уже ничего было нельзя, он так и не смог.

Не сумел Лев Николаевич почувствовать сердцем и реакцию матери на неожиданную, вовсе не с ее хлопотами, а со снятием Ежова связанную замену статьи преступления (а значит, и наказания): вместо объявленных вначале десяти лет заключения Гумилев по чистой случайности получил всего пять(!) и не строгого режима, а ИТЛ... Даже просто принять во внимание, каким невероятным счастьем для матери было известие об уменьшении срока ровно вдвое, сын не сумел! Между тем это было действительно счастье, ведь Анна Андреевна узнала об изменении приговора через несколько месяцев после того, как до Ленинграда дошла весть о смерти в пересыльном лагере под Владивостоком Осипа Мандельштама. Гумилеву в сравнении с Мандельштамом в буквальном смысле повезло, это явствует даже из его рассказа корреспонденту «Звезды»:

«Меня отправили в Норильск, где я и отбыл свои пять лет. Поскольку сразу из Норильска мне выехать не было разрешено, я пробыл на Севере еще полтора года, работал в геологической экспедиции,

неподалеку от Туруханска. Здесь я стал проситься на фронт. Меня долго не отпускали. Тогда я неосторожно обошелся с магнитометром... “Не хочет работать, пусть идет воевать”, – решил технорук экспедиции. И я пошел воевать, дошел до Берлина в составе... малокалиберной зенитной артиллерии. Весной 1945 года мы взяли Берлин, и я, проведя еще несколько месяцев в оккупированной Германии, вернулся в Ленинград. Восстановился на истфаке, экстерном сдал 10 экзаменов за 4-й и 5-й курсы. Вскоре диплом мой был напечатан».

«Звезды смерти стояли над нами»

Как это ни странно, но война пощадила и Анну Андреевну. Ее запросто могли «забыть» в осажденном Ленинграде, где она не выдержала бы и первой блокадной зимы: уже в сентябре у нее начались дистрофические отеки. Но ее почему-то не забыли и по вызову А. Фадеева, за которым стоял, по всей вероятности, все тот же А.Н. Толстой, вывезли из города на Неве на одном из последних самолетов. Могли бы отправить и во глубину Сибири, где Анна Андреевна при ее неумении «устраиваться» и «качать права» погибла бы от холода, голода и беспросветного одиночества, как Марина Цветаева в Елабуге. Однако в результате счастливого для нее стечения обстоятельств (вот уж воистину — Бог уберет!) Ахматова оказалась не где-нибудь, а в Ташкенте. В воспоминаниях одного из ее тогдашних знакомых сохранилось описание ее азиатского прибежища:

«В Ташкенте А.А. жила в крошечной комнате под железной крышей в общежитии-казарме. Условия были тяжелыми. Страшно во время землетрясений раскачивалась лампочка. Жара. В углу комнаты висели платья».

Конечно, в эвакуации ей, как и большинству рядовых ташкентцев, жилось и тесно, и убого, и впроголодь, однако до смерти здесь все-таки не голодали; к тому же здесь у Ахматовой впервые за долгие годы затворничества была благодарная и профессиональная аудитория: в Ташкент эвакуировали всю столичную элиту, начиная от А.Н. Толстого и К. Чуковского. В Ташкент же было переведено и издательство «Советский писатель», в котором в 1943 у Ахматовой вышла тоненькая книжка стихов. Анна Андреевна, конечно же верная правилу: никогда ничего не проси, — не обивала, как иные авторы, «ведомственные пороги», издатели сами нашли ее сразу же после того, как военные стихи Анны Ахматовой стали публиковать центральные газеты. Стихотворение «Мужество», напечатанное в «Известиях» (февраль 1942), побило все рекорды популярности. Воюющая Россия, даже девятнадцатилетние лейтенанты самого последнего советского призыва, без подсказки «младших политруков», отличили ее простые и человеческие стихи от трескучих «казенных гимнов»:

Мы знаем, что нынче лежит на весах,
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
Но мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Жены преуспевающих деятелей искусства завяли в захолустном Ташкенте от бытовых трудностей, но Анна Андреевна и к существованию на грани нищеты, и к коммунальным «неудобствам» давным-давно привыкла, они ее не пугали. Куда страшнее оказались муки совести: она — вдалеке от страданий и бед своих земляков, ее Ленинград вымирает в блокаде! Великим облегчением стала встреча на ташкентском вокзале с семьей Пунина в марте 1942: узнав, что эшелон с очередной партией эвакуированных ленинградцев проследует в Самарканд через Ташкент, Николай Николаевич известил об этом Анну

Андреевну. Весточка чудом дошла вовремя, и Анна Андреевна не пропустила транзитный состав. И это тоже был знак надежды.

Однако едва она стала оживать, нагрянула новая беда. Началось в августе (все дурное в ее судьбе происходило в августе) с затяжного гриппа, а кончилось чуть ли не летально. Четыре месяца — между этим и тем светом! Так тяжело, долго и безнадежно Анна Андреевна еще не болела. Но поднялась и кое-как продержалась зиму. А в марте пришло долгожданное счастливое письмо из Норильска: Левушка сообщил, что срок его заключения кончился. Зная по опыту, как коротки, короче азиатской весны, отпущенные ей промежутки между бедами, Анна Андреевна вновь принялась за «Поэму без героя», пришедшую к ней, как уже упоминалось, в последнюю зиму перед новой войной — 27 декабря 1940, через полгода после окончания «Реквиема».

«Реквием» (1935–1940), как и было задумано, написан простым (Ахматова назвала его бедным) языком — столь безыскусно звучат только некоторые стихи из ее первого сборника «Вечер». Но «Вечер» создан «духом легкости», а «Реквием» — «духом тяжести» (если воспользоваться выражением Марины Цветаевой). Удельный вес слова найден и задан уже во Вступлении:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад.
И ненужным привеском болтался
Возле тюрем своих Ленинград.
И когда, обезумев от муки,
Шли уже осужденных полки,
И короткую песню разлуки
Паровозные пели гудки,
Звезды смерти стояли над нами,
И безвинная корчилась Русь
Под кровавыми сапогами
И под шинами черных марушь.

Казалось бы, проще, понятнее сказать нельзя, все названо своими словами, как если бы это были бы не стихи, а нагая речь «безвинной Руси». И тем не менее — это стихи, и даже больше — стихи, которые, помимо того, о чем сказано открыто и в лоб, заключают в себе еще и то, о чем автор мыслит только «теньями мыслей». Например, «звезды смерти» — в данном контексте — не только прославленные официальной поэзией «рубиновые звезды Кремля», но еще и переключка, а одновременно и полемика с Мандельштамом, с его язвительным политическим памфлетом «Мы живем, под собою не чуя страны...»

Мандельштамовский Сталин — «кремлевский горец» — отвратителен и карикатурен, так же, как и «сброд» его «тонкошеих вождей»: «Его толстые пальцы, как черви, жирны», «тараканьи смеются усищи», он «пахан», главарь кремлевской «малины», но не более того. Мандельштам намеренно упрощает и образ тирана, и образ тиранства, он словно бы заговаривает, заклинает свой иррациональный страх, сквозь ужас смеется, вернее, пытается рассмеяться. Смех не выходит, не получается: можно смеяться сквозь слезы, но сквозь смертный ужас смеяться нельзя! Мандельштам в первой же строчке признается: «Мы живем, под собою не чуя страны».

Ахматова же не только чуёт под собой всю страну — безвинную Русь, которая корчится под кровавыми, а не до блеска начищенными, как у Мандельштама («И блистают его голенища...»), сапогами кремлевских «опричников», она чувствует и себя раздавленной, обутой в автомобильные «шины» колесницей истории. Да, Ахматова согласна с Мандельштамом: те, что узурпировали власть и засели в Кремле, — банда, воровская шайка, действующая по законам криминального мира, но мысль эта выражена осторожно, «легкокасательно» — через введение в текст одного-единственного «воровского» словечка: «И под шинами черных марушь...» «Черными марусями» питерские уголовники называли наглухо закрытые милицейские машины, доставлявшие в места предваритель-

ного заключения преступников, но ныне полицейские и воры поменялись ролями: преступным объявлен весь народ.

А как играет и как расширяет объем художественного сообщения стертая, смытая или размытая слезами отчаяния полуцитата из Северянина, из его знаменитого, когда-то пленившего весь Петербург смешного полуроманса: «Это было у моря, где волна бирюзова...» (Сравните с ахматовским первым двустушием: «Это было, когда улыбался // Только мертвый, спокойствию рад...») Размытая, но четко и сразу узнаваемая, в силу невероятной популярности «короля поэтов» в последний перед крушением империи год, северянинская строка, разломленная ровно посередине, как бы наглядный пример несоизмеримости того, что было, с тем, что стало на Руси. Та же тема прозвучит в четвертом фрагменте трагической «Поэмы из отдельных стихов» (видимо, так, по аналогии с «Парижем» Маяковского, можно приблизительно определить жанр ахматовского «Реквиема»), но уже в лирическом индивидуальном повороте:

Показать бы тебе, насмешнице
И любимице всех друзей,
Царскосельской веселой грешнице,
Что случится с жизнью твоей —

Как трехсотая, с передачею,
Под Крестами будешь стоять
И своею слезою горячею
Новогодний лед прожигать...

«Реквием» ошеломил даже русскую эмиграцию. Вот свидетельство Бориса Зайцева:

«Полвека тому назад жил я в Москве, бывал в Петербурге. Существовало тогда там... артистическое кабаре “Бродячая Собака”... В один из приездов моих в Петербург, в 1913 году, меня познакомили в этой Собаке с тоненькой изящной дамой, почти красивой, видимо, избалованной уже успехом, несколько потогдашнему манерной. Не совсем просто она держалась. А на мой, более простецко-московский глаз, слегка поламывалась... Была она поэтесса, входившая в наших молодых кругах в моду — Ахматова. Видел я ее в этой Собаке всего, кажется, один раз. На днях получил из Мюнхена книжечку стихотворений, 23 страницы, называется «Реквием». На обложке Анна Ахматова (рис. С. Сорокина, 1913). Да, та самая... И как раз того времени... Говорят, она не любила этот свой портрет. Ее дело. А мне нравится, именно такой помню ее в том самом роковом 13-м году. Но стихи написаны позже, а тогда не могли быть написаны... Эти стихи Ахматовой — поэма... (Все стихотворения связаны друг с другом. Впечатление одной цельной вещи. Дошло это сюда из России, печатается “без ведома и согласия автора”... Издано “Товариществом Зарубежных Писателей”, списки же “рукотворные” ходят, наверное... по России как угодно)... Да, пришлось этой изящной даме из Бродячей Собаки испить чашу, быть может, горчайшую, чем всем нам, в эти воистину “Окаянные дни” (Бунин). Я-то видел Ахматову “царскосельской веселой грешницей» и “насмешницей”... Можно ль было предположить тогда... что хрупкая эта и тоненькая женщина издаст такой вопль — женский, материнский, вопль не только о себе, но обо всех страждущих — женах, матерях, невестах, вообще обо всех распинаемых?

Хотела бы всех поименно назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них создала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов.

В том-то и величие этих 23 страничек, что “о всех”... Опять и опять смотрю на полупрофиль Соринской остроугольной дамы 1913. Откуда взялась мужская сила стиха, простота его, гром слов будто обычных, но гудящих колокольным похоронным звоном, разящих человеческое сердце и вызывающих восхищение художническое? Воистину “томов премногих тяжелей”. Написано двадцать лет назад. Останется навсегда безмолвный приговор зверству».

«Реквием» Ахматова читала только самым близким и верным друзьям, черновики тут же сжигала, текст как целое существовал в ее памяти и был впервые записан на магнитофонную ленту в декабре 1962, уже после того, как была белодневно опубликована маленькая повесть Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

«Поэма без героя» написана иначе, сама Ахматова назвала примененный здесь метод «тайнописью», «зеркальным письмом» и даже «криптограммой». «Зеркальное письмо» позволяло сказать многое из того, что прямо сказать было нельзя, и не только в сороковых

годах и после смерти Сталина, но и много позже. Однако оно же породило и множество самых противоположных, порою причудливых интерпретаций. В середине шестидесятых Анна Андреевна составила список истолкований тех причуд, которые она позволила себе в загадочной, которая кажется всем другой и разной, поэме: поэма совести; чистая музыка; исполненная мечта символистов; поэма канунов-сочельников; историческая картина, летопись эпохи; почему произошла революция; одна из фигур русской пляски (лирика отступает, закрываясь платочком); как возникает магия. Перечислила и имена авторов интерпретаций: Б. Пастернак, В. Шкловский, К. Чуковский, А. Найман и т. д. И только у одной версии в этом списке нет автора, ибо она является авторской: «Поэма — моя биография» («Волшебный напиток, который густеет и превращается в мою биографию»).

Далее: в том же фрагменте из «Записных книжек» 1956–1966 Ахматова поясняет, что в «Поэме без героя» у нее два двойника — петербургская кукла (часть первая) и «некто — в самой чаще тайги дремучей» (часть третья) и что только в «Решке» она «такая, какой была после «Реквиема» и четырнадцати лет под запретом, на пороге старости».

Те части поэмы, где «тайнопись» была вынужденной, Ахматова, когда об эксцессах эпохи «культы личности» стало возможным говорить вслух, хотя и вполголоса, — «раззеркалила»; в результате и в лирическом отступлении, и в «Эпilogе», и в «Решке» заполнились точечные строфы. Но раззеркаливание делалось только по одной линии, там, где речь шла о репрессиях и жертвах сталинского террора; остальные сюжетные линии по воле автора остались как бы «зашифрованными».

Из попыток найти ключ к этому поэтическому шифру можно составить целый объемистый том; даже для того чтобы сделать что-то вроде дайджеста этих версий, потребовалась бы небольшая, но книжка, куда более толстая, чем та, которую вы держите сейчас в руках. И что самое удивительное: ни один из вариантов интерпретации не выдуман, а вычитан из текста, а значит, доказуем. И все-таки, на мой взгляд, точнее всех определила главную, или, как говорил Белинский, длинную, мысль «Поэмы без героя» сама Ахматова: это действительно прежде всего ее поэтическая биография, свод важнейших «незабвенных дат» и судьбоносных событий ее долгой жизни, их, так сказать, «поздняя оценка», причем свод, к которому могут быть поставлены эпиграфом уже цитированные строки из «Реквиема»: «Показать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей». И, думается, не случайно и в «Решке», и в «Эпilogе» петербургский «Триптих» смыкается с «Реквиемом», и магистральной дорогой книги жизни становится та,

По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.

Хотя чисто формально поэма, начатая, как уже указывалось, в конце 1940, окончена в 1962, в период хрущевской оттепели, когда многим казалось, что страна уже выбралась из котлована социализма со сталинским лицом, фактически Ахматова не расставалась с ней до конца земной своей жизни — текст и старел, и рос вместе с его автором.

«На позорном помосте беды»

Но мы опять опередили события, ведь на дворе 1943, и Анне Ахматовой, только что прочитавшей первый вариант «Поэмы без героя» ташкентским почитателям и тут же отправившей его в Москву на художественную экспертизу Николаю Ивановичу Харджиеву — тонкому и умному ценителю, еще предстоит многое пережить. Летом 1944 она вернется в Ленинград, вернется, чтобы выдержать очередной удар судьбы. Перед самым отъездом из Ташкента Анна Андреевна получила от давнего своего друга

Владимира Георгиевича Гаршина, профессора медицины и племянника известного писателя, телеграмму с предложением руки и сердца и даже с вопросом: согласна ли она при официальном оформлении брака взять его фамилию?

Про себя Анна Андреевна иронически усмехнулась: какие, мол, нежности при нашей бедности и нашем, увы, отнюдь не нежном возрасте (Гаршин был ее ровесником). Однако ответила согласием, снизойдя к вполне понятным амбициям и опасениям «жениха». Но пока «невеста» добиралась до Ленинграда, в жизни Гаршина, овдовевшего в блокаду, произошло чрезвычайное происшествие: ему приснился вещий сон; в том сне ученому-патологоанатому явилась покойница-жена и взяла с него слово: не жениться на Ахматовой, не вводить эту ведьму с Лысой горы в их почтенный профессорский дом. Гаршин встретил Анну Андреевну на вокзале, и даже, кажется, с цветами, и тут же поведал о случившемся. Больше они не виделись.

Анна Андреевна вновь обосновалась в Фонтанном Доме. Вскоре вернулись из эвакуации и Пунины, но не в прежнем составе; жена Николая Николаевича умерла, дочь Ирина овдовела (ее муж, отец Анны-маленькой, погиб на войне). Пунин опять женился, вышла во второй раз замуж и Ирина Николаевна.

Жизнь Анны Андреевны снова замерла и превратилась в мучительное ожидание возвращения сына с войны. Вообще-то она знала: Гумилевых вражки пули не берут, иные смерти на роду им написаны, но кто-то при ней ляпнул, что Лев Николаевич воюет в составе смертников, то есть «штрафников». Вопреки суеверному опасению матери сын вернулся. Живой и невредимый. И даже восстановился на истфаке.

Жили они теперь вместе, вдвоем, и даже кое-как сводили концы с концами: в течение первого послевоенного года Ахматова много выступала. С невероятным успехом — в Ленинграде, в Москве. Снова стала писать: за год — более 20 стихотворений! И это при активной работе над не отпускающей от себя «Поэмой без героя». Она до того расхрабрилась, что позволила себе не испугаться, когда к ней в Фонтанный Дом заявился, чтобы взять интервью, сотрудник британского посольства, по образованию ученый-славист Исая Берлин.

Выходец из России, сэр Берлин свободно говорил по-русски, в истории российской словесности чувствовал себя как рыба в воде, кроме того, кое-что знал и о романе молодой Анны Андреевны с Борисом Анрепом. Все это вместе взятое сильно подействовало на Ахматову, особенно взволновало то, что заморский гость появился в Фонтанном Доме неожиданно-негаданно и, как и было предсказано самим строим поэмы канунов и сочельников, под Рождество, за что и был «вставлен» в ее текст в роли гостя из будущего.

Почтенный славист, когда до него дошла «Поэма без героя», был крайне смущен. Будучи младше Анны Андреевны на целых двадцать лет, он не мог и подумать, что его сугубо карьерный визит будет воспринят почтенной седой русской дамой столь эмоционально. А между тем сэр Берлин и впрямь появился в сталинской России 1946 в роли «гостя из будущего» — пришельца из тех времен, когда творчество госпожи Ахматовой станет излюбленной диссертационной темой славистов всего мира, и они будут люто завидовать Исая Берлину. Что касается последнего, то ему, как свидетельствует Иосиф Бродский, особенно странными и даже будто бы безумными показались строки «Третьего и последнего» Посвящения из «Поэмы без героя»:

Полно мне леденеть от страха,
Лучше кликну Чакону Баха,
А за ней войдет человек...
Он не станет мне милым мужем,
Но мы с ним такое заслужим,
Что смутится двадцатый век.
Я его приняла случайно
За того, кто дарован тайной,
С кем горчайшее суждено,

Он ко мне во дворец Фонтанный
Опоздает ночью туманной
Новогоднее пить вино.
И запомнит Крещенский вечер,
Клен в окне, венчальные свечи
И поэмы смертный полет...
Но не первую ветвь сирени,
Не кольцо, не сладость молений —
Он погибель мне принесет.

Берлин, хотя и славист, не обратил внимания на то, что «Третье и последнее» Посвящение представляет собой сцену крещенского гадания, на что указывает и эпитафия из Жуковского «Раз в Крещенский вечерок...», а спровоцировал этот сюжетный ход он сам, явившись «во дворец Фонтанный» как раз в тот самый день («Le jour des rois»), когда испокон веку девушки в России гадали на суженого. Отсюда и стилистика, и лексика (венчальные свечи, кольцо, сладость молений) третьего Посвящения. И действительно, визит сотрудника английского посольства чуть было не принес Ахматовой погибель.

Как и было нагадано в «Крещенский вечерок», несчастья начались в следующем же году и, конечно же, в роковом для нее августе. 14 августа 1946 было опубликовано в центральной прессе Постановление ЦК ВКП(б) «О журналах «Звезда» и «Ленинград», в котором творчество Анны Ахматовой и Михаила Зощенко названо антисоветским. Через два дня в Актовом зале Смольного состоялось общее собрание творческой интеллигенции Ленинграда, на котором от имени ЦК выступил сам А. Жданов, курировавший город на Неве.

Реакция на грозное выступление партийного начальника последовала незамедлительно: в скоростном порядке рассыпали набор двух уже готовых к печати книг Ахматовой (и московской — под редакцией А. Суркова, и питерской — под редакцией В. Орлова). А через некоторое время был собран в полном составе, после летних отпусков, Президиум Союза писателей СССР, который постановил: «Исключить Зощенко М.М. и Ахматову А.А. из Союза писателей как не соответствующих в своем творчестве требованиям параграфа 2 Устава Союза, гласящего, что членами Союза советских писателей могут быть писатели, стоящие на платформе советской власти и участвующие в социалистическом строительстве». За изгнанием из творческого профессионального союза так же в срочном порядке последовало исключение из Литфонда. Анна Ахматова осталась без законного вида на жительство, без продуктовых карточек и без гонорара, на который они с сыном так рассчитывали. Лев Николаевич износил до дыр фронттовую одежду-обувь, и, когда появлялся в университете, на него недоуменно оглядывались...

Впрочем, вскоре Гумилев перестал удивлять однокашников своим нищенским видом: его выгнали из аспирантуры, несмотря на то что уже была написана диссертация и сданы все экзамены. Единственным местом, куда сына антисоветской поэтессы взяли на работу, была библиотека при сумасшедшем доме. Чтобы не умереть с голоду, Ахматова стала переводить. Перевела, например, письма Радищева из Илимского острога (с французского). Их даже опубликовали, но без имени переводчика.

23 июня 1949 ей исполнилось 60 лет. Ни одного юбилейного поздравления даже от бывших своих почитателей, вышедших в начальники, Анна Андреевна не получила. А вскоре в Фонтанный Дом пришла очередная большая беда: 26 августа 1949 арестовали Николая Пунину, а в ноябре — Льва Гумилева, на этот раз уже не как сына белогвардейца, а как «отродье» антисоветской поэтессы. Оба получили по 10 лет исправительно-трудовых лагерей. Ахматова ежемесячно ездит в Москву: сначала, чтобы сын, ожидавший приговора в Лефортовской тюрьме, не остался без положенных по закону — раз в месяц — продуктовых передач, а затем, уже после так называемого суда, в связи с хлопотами об облегчении его участи. И все напрасно... По совету московских литературных чиновников, лично, по-человечески сочувствовавших ее горю и по природе отнюдь не злодеев

— А. Суркова и А. Фадеева, — она решается на отчаянный шаг: сочиняет посвященный Сталину патриотический цикл «Слава миру» (по настоятельной рекомендации Суркова «верноподданнические» лжестихи опубликовал многотиражный «Огонек»). Увы, и это не помогло — ни Пунину, ни Гумилеву, а для Анны Андреевны обернулось тяжелейшим инфарктом... В те страшные годы она создает цикл «Черепки» (своего рода малый «Реквием») — несколько четверостиший, связанных общим сюжетом: мать и сын. Вот два наиболее характерных из них:

* * *

Мне, лишенной огня и воды,
Разлученной с единственным сыном...
На позорном помосте беды
Как под тронным стою балдахинном...

* * *

Вот и dospорился яростный спорщик
До енисейских равнин...
Вам он бродяга, шуан, заговорщик,
Мне он единственный сын.

В 1952 Ахматову вместе с семьей репрессированного Пунина переселили из Фонтанного дворца в дом, когда-то принадлежавший корпорации петербургских извозчиков. Анна Андреевна сочла это символическим: негоже проживать во дворцах, даже бывших, родственникам советских политкаторжан... Уезжая, она поклонилась «сиятельному Дому», поклон получился легким и по-ахматовски горько-ироничным:

Особенных претензий не имею
Я к этому сиятельному Дому,
Но так случилось, что почти всю жизнь
Я прожила под знаменитой кровлей
Фонтанного дворца... Я нищей
В него вошла и нищей выхожу.

5 марта 1953 умер Сталин. В ознаменование этого события Анна Андреевна впервые за много лет переступила порог Ленинградского отделения Союза писателей. Собрание было, конечно, траурным: собратья Ахматовой по перу в скупых слезах прощались с «отцом народов». Видеть эти слезы ей было и тошно, и стыдно, но она все-таки высидела до конца церемонии, уж она-то знала, что наступает новая эпоха, им, слепцам, пока не видимая.

Николай Николаевич Пунин до этой эпохи не дожил: умер в воркутинском лагере. И конечно, в августе. Сразу после его ареста, в 1949, Анну Андреевну навестила приятельница, жена композитора Ю. Шапорина. Вот как описан этот день в ее дневнике:

«Была вчера в церкви, отвела душу и зашла к А.А. Ахматовой... Был уже час, но она еще лежала. Все лето чувствовала себя плохо. Хозяйство, хотя и небольшое, ее утомляет, день ходит, день лежит. Вернулся сын, который ведет самую трудную часть хозяйства, т. е. закупки. А.А. встала, и мы пошли с ней в Летний сад. Она мне рассказала, что Пунин ждал ареста после того, как в университете было арестовано 18 человек. Он все надеялся, что дочь с внучкой успеют вернуться — его арестовали за несколько дней до их возвращения. Девочке не сказали об аресте, “просто уехал”... — “У меня самое болезненное из чувств — это жалость, и я умру от жалости к Ирочке и Ане”, — сказала А.А. — Отец девочки убит на войне, ей трудно дается учение. Н.Н. с ней много занимался, она очень его любила и звала папой... Гумилев был расстрелян 25 августа. Пунин арестован 26-го. — “Отбросив всякие суеверия, — говорит А. А., — все-таки призадумайтесь”».

Забыв все тяжелое, что было между ними, Анна Андреевна написала на смерть Пунина удивительное по тонкости лирического чувствования четверостишие, и написала так, чтобы читатель стиха, хотя и по ее как бы подсказке и тем не менее сам, смог расширить его объем за счет «присоединения» к этому поминанию знаменитого стихотворения Фета, и это не заимствование, а переключка скорбящих сердец.

Ахматова:

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено... И песнь моя несется
В пустую ночь, где больше нет тебя.

Афанасий Фет:

Не жизни жаль с томительным дыханьем, —
Что жизнь и смерть? Но жаль того огня,
Что просиял над целым мирозданьем
И в ночь идет, и плачет уходя.

Нет, об этой женщине никак нельзя было сказать: беден я всем, беден и благодарностью...

«Как в беспамятном жили страхе...»

Как уже упоминалось, И. Берлин был крайне удивлен не только неожиданно эмоциональной реакцией Анны Ахматовой на его появление в ее доме, но и общей оценкой российской ситуации 1949. Слова из «Поэмы без героя»: «...такое заслужим, что смутится двадцатый век» — были восприняты им как проявление крайнего эгоцентризма. Между тем Ахматова ничуть не преувеличила, и речь в данном случае шла не только о ее семейных и личных бедах.

К. Симонов, а он в послевоенную пору был одним из наиболее осведомленных литературных деятелей, утверждает, что идея Постановления 1946 была спущена «сверху»; там же, в политических верхах, сформулировали и цель мероприятия общесоюзного масштаба: «Прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, словом, что-то на тему о свертке и шестке». Итак, по сведениям К. Симонова, а его компетенции в данном случае можно доверять, в высших эшелонах власти была выработана лишь идея, право же указать (поименно) на особо зарвавшихся интеллигентов предоставили партийному руководству местных творческих союзов.

И когда писательской организации Ленинграда предложили назвать персонально тех свертков, которые запрыгнули не на свои шестки, писательская общественность в лице особо обиженных триумфальным успехом послевоенных выступлений Ахматовой и Зощенко назвала именно их. Особенно досталось Ахматовой: просидела тихоней, золушкой, замарашкой, смиренницей целых пятнадцать лет, на пролетарской улице не то что по праздникам, и в будние-то дни передвигалась бочком, к стенке жалась, чтобы забыли, не вспомнили, чья она вдова и чья мать, и вдруг вылезла в юпитеры и срывает аплодисменты. И где? в больших аудиториях, собирающих цвет советской интеллигенции.

У Михаила Зощенко и Анны Ахматовой действительно были преданные и восхищенные поклонники, и тайные и явные, даже среди правоверных коммунистов. Это они, «ахматовцы», в 1946 встретили ее стоя, под несмолкающие — целых 15 минут! — аплодисменты. То же самое было и с Михаилом Зощенко. Константин Симонов не преувеличивает, когда, описывая их выступления в Москве и в Ленинграде, употребляет слова «головокружительный триумф».

Сама Анна Андреевна, правда, считала, что причина Постановления 1946 — ее встречи с Исайей Берлиным, которые были замечены «органами» и квалифицированы как непозволительные контакты с иностранными шпионами. Однако Михаил Зощенко, напарник Ахматовой по зловещему докладу Жданова, ни тогда, ни позже с подозрительными иностранцами не встречался, и тем не менее был приговорен к гражданской смерти по той

же статье: как идеологически чуждый элемент. Так что хочешь не хочешь, а возникает предположение, что и Ахматова, и Зощенко попали в число главных героев ждановского доклада не за те грехи, которые отыскал в них Жданов, а совсем-совсем за другое — за то, что именно им досталась вся народная любовь.

О том, что решающую роль в изгнании Ахматовой сыграла именно самодеятельность ее земляков, свидетельствует и фактография ждановского доклада. Услужливо подsunутый Жданову и его референтам обличительный материал — это пожелтевшие вырезки из газет и журналов двадцатилетней давности; взять более свежий криминал было негде, ибо после 1925 Ахматова практически не публиковалась, а то, что все-таки печаталось — лирика военных лет, — ничего предосудительного даже по самым строгим пролетарским меркам в себе не содержало. Об этом же свидетельствует реакция Центра по управлению литературой, то есть Москвы.

Когда в здешнем «литературном ЦК» узнали, что ленинградские активисты лишили автора известного всей стране, вошедшего во все школьные хрестоматии стихотворения «Мужество» хлебных и продовольственных карточек, то слегка растерялись. Московскому литературному начальству было настойчиво рекомендовано «сверху» вступить в переговоры с патриотически настроенными эмигрантами (Бунин, Тэффи). Но как вести такие переговоры, если Ахматова, которая не уехала, хотя имела такую возможность, и даже осудила уехавших как отступников, ныне поставлена вне закона? к тому же и Симонов, и Сурков, и набравший административный вес Федин были тайными ахматовцами.

Короче, совместными усилиями столичного литературного истеблишмента Ахматову спустя месяц после исключения из Союза писателей восстановили в Литфонде СССР (распоряжение подписал лично Фадеев). Однако возвращение продовольственных карточек в данном случае ничего не меняло: у Ахматовой не было денег, чтобы их, как говорили тогда, отovarить. И все-таки после смерти Сталина ее положение стало потихоньку меняться к лучшему. Во-первых, по распоряжению секретариата СП СССР ей регулярно давали переводы в самом престижном тогда издательстве «Художественная литература».

Платили за стихотворные переводы в «Худлите» хорошо, можно даже сказать — щедро, больше, чем, допустим, в «Советском писателе» за стихи оригинальные, и те, кто был допущен к этой «кормушке», не только не бедствовали, но посматривали несколько свысока на литераторов, вынужденных жить «на общих основаниях». Разумеется, для этого надо было превратиться в некую переводческую машину, чего Ахматова конечно же и не могла, и не хотела. И тем не менее она переводила. Переводы эти печатались и оплачивались, разумеется, по высшей ставке. Больше того, при содействии Суркова она сдала в «Худлит» и собственную рукопись, и хотя большую ее часть составляли переводы, важен был сам факт, ведь зловещего Постановления никто не отменял, его молча и как бы нелегально обходили.

Выждав несколько месяцев, Анна Андреевна написала письмо Ворошилову с просьбой о пересмотре дела Льва Гумилева. Письмо сочли нарушением приличий и хода ему не дали, однако в число делегатов Второго съезда писателей Ахматову все-таки включили, и Анна Андреевна не отказалась от этой «чести», ей все еще мнилось, что изменение ее социального статуса может оказать какое-то воздействие на тех, от кого зависела судьба ее сына.

А весной 1955 в ее бездомной и бесприютной жизни произошло событие невероятной важности: Ленинградское отделение Литфонда выделило ей в пожизненное пользование маленький летний финский домик в дачном поселке Комарове неподалеку от Ленинграда. Свою комаровскую «дачу» Анна Андреевна окрестила «будкой», подразумевалось: собачьей — в память о «Бродячей Собаке», с которой было связано столько дорогих, незабвенных воспоминаний... Она очень ее полюбила, ведь это было первое собственное жилье.

На крошечном «приусадебном» участке Анна Андреевна сама посадила цветы и очень беспокоилась, если выдавалась холодная зима: как-то перезимуют ее милые многолетники?.. Вести дачное хозяйство ей одной было уже не под силу, поэтому дом был всегда полон желающих помочь. Месяцами жили в летний сезон и «девочки Пунины»... Многие здравомыслящие люди из дружеского окружения Анны Андреевны и в глаза и за глаза порицали ее за это, но Ахматова пропускала «соболезнования» мимо ушей: у нее были свои резоны относиться к сиротам Николая Николаевича как к своей семье, ведь она столько тяжелых лет пользовалась их пусть и не очень радушным, но гостеприимством; не менее щедро делилась Анна Андреевна с семейством Пуниных гонорами и также считала это естественным. Ей вообще куда больше нравилось отдавать, раздавать, одаривать, чем брать.

Эпилог ПЛОДОНОСНАЯ ОСЕНЬ

В феврале 1956 состоялся исторический XX съезд партии, осудивший «культ личности» Сталина, а 15 апреля того же года вернулся из лагеря Лев Николаевич Гумилев, и в жизнь Анны Ахматовой вторглась новая беда: семь лет каторги, не затронув его интеллекта (из лагеря Лев Николаевич привез два чемодана рукописей — почти готовую книгу «Хунны»; опубликована в 1960), ожесточили, почти изуродовали его душу: до конца жизни Гумилев-младший был твердо убежден, что во всех его несчастьях виновата мать. Через полгода возвратилась из ссылки и дочь Марины Цветаевой Ариадна Сергеевна Эфрон: встречи с ней усилили боль — какой разительный контраст с ее сыном! Ни слова осуждения в адрес матери — только благодарная память. Память и любовь... Но эту последнюю свою боль и неизбывную беду Анна Андреевна скрыла столь тщательно и так «зазеркалила», что о ней смутно догадывались лишь самые близкие ее друзья. И сына простила. Раз и навсегда.

Но скрытая боль делала свое дело: инфаркт следовал за инфарктом, третий, настигший ее после операции аппендицита, был особенно тяжелым. От него Анна Андреевна уже не оправилась. Но работать, и плодотворно, не переставала. По-прежнему главной ее заботой была «Поэма без героя». Много времени, как всегда, у нее отнимали переводы, а также воспоминания — о Блоке, Мандельштаме, Амедео Модильяни, Михаиле Лозинском.

Она возобновила работу над оборвавшейся было «пушкинианой». Именно в эти годы «плодоносной осени» созданы ее лучшие эссе о Пушкине: «Каменный гость» Пушкина», «Пушкин в 1828 году», «Пушкин и Невское взморье», до сих пор фактически не оцененные по-настоящему. Впрочем, «ревнивых» пушкинистов можно извинить: чтобы понимать и чувствовать Пушкина так, как понимала и чувствовала его Ахматова, нужно быть Ахматовой. Однажды она сказала, что Пушкин в «Евгении Онегине» опустил за собой шлагбаум, перекрыв дорогу подражателям. Нечто подобное можно сказать и об ахматовской пушкинистике: ни подражать, ни следовать ее дорогой невозможно.

Июнь 1962 преподнес Ахматовой к 73-летию неожиданный подарок — ее стихи как замечательное явление русской культуры были выдвинуты на Нобелевскую премию. Ахматова ее не получила и была этому рада: после того что случилось с Пастернаком, которого власти предержавшие вынудили отказаться от Нобелевской премии, присужденной за роман «Доктор Живаго», ее пугала подобная перспектива. Однако и советское руководство было, видимо, слегка смущено принявшим международную огласку скандалом с Пастернаком, особенно после его преждевременной смерти, и когда по инициативе Италии Анне Ахматовой присудили международную литературную премию «Этна-Теормина», препятствовать этому не стали.

Торжества по случаю вручения премии «Великой княгине русской поэзии» (титул, торжественно преподнесенный Анне Андреевне хозяевами праздника — итальянцами)

состоялись в декабре 1964. На этот раз в свите Ахматовой — все светила тогдашней официально признанной советской литературы: М. Бажан, К. Симонов, А. Сурков, А. Твардовский. А шесть лет назад, узнав, что в Италию, впервые после долгих десятилетий существования за «железным занавесом», отправилась «делегация» советских писателей, Анна Андреевна написала горькие стихи:

Все, кого и не звали, в Италии, —
Шлют с дороги прощальный привет,
Я осталась в моем Зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.

Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет...
Мне к лицу стало всюду отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

И вот она в Италии, и не рядовым туристом! В ее почетном эскорте лица, от которых еще недавно зависело, жить ей или сгинуть от хронического недоедания. Ей бы возликовать, а ей грустно, и еще грустнее от того, что конец поэтического праздника совпал с Сочельником, который в ее личном интимном календаре был днем знакомства с Гумилевым, а еще пуще от того, что она опять, как и полстолетия назад, проведя почти месяц в Италии, ничего не смогла в ней увидеть; тогда, в 1912, из-за трудной беременности, а сейчас из-за больного, смертельно уставшего сердца. Единственным местом, где бы Анна Андреевна хотела в этот Сочельник оказаться, была комаровская «будка», окруженная огромными соснами:

Заключенье небывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многого в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего.

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем как отдельные весны
В лужах, выпивших небо, — стоят.

В Италии же до нее дошла и еще одна приятная новость: 15 декабря 1964 Оксфордский университет принял постановление о присуждении Анне Ахматовой степени почетного доктора наук. Сбывалась, таким образом, и еще одна ее мечта — увидеть своими глазами «остров зеленый», откуда в 1915 приехал Борис Анреп, и она с честью вынесла и это испытание, почти непосильное для ее возраста и состояния здоровья. На обратном пути в Россию Анне Андреевне, по стечению обстоятельств, удалось на несколько дней задержаться еще и в Париже. Здесь она встретилась с приятелями и приятельницами молодости — художником Дмитрием Бушеном, участником слепневских шоу; сестрой Машеньки Кузьминой-Караваевой, Ольгой, которой посвящено стихотворение «Побег»; учеником Николая Степановича, поэтом и критиком Георгием Адамовичем, и даже со своим начисто забытым портретом, который перед самым отъездом в эмиграцию написал Юрий Анненков и который теперь висел на почетном месте в его парижской мастерской.

Были и еще две встречи: одна неприятная — с Борисом Анрепом, который и спустя полвека не нашел ни единого сердечного слова, и другая, до слез трогательная, — с героем ее мимолетного легкого молодого романа — графом Валентином Зубовым. Никита Струве, внук Петра Струве, издателя и редактора дореволюционной «Русской мысли», в ту пору сам издатель и профессор Сорбонны, в июне 1965 оказался случайным свидетелем их встречи. Вот что он пишет в своих воспоминаниях «Восемь часов с Анной Ахматовой»:

«После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Вошел граф З., близкий друг Ахматовой по Петербургу, с которым она не виделась 50 лет. Перед тем, как выйти

из комнаты, я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально и ласково смотрела на своего, совсем уже старенького на вид посетителя и сказала: “Ну, вот, привел Господь еще раз нам свидеться...”»

Граф Валентин Платонович Зубов в 1965 и впрямь был стар: Анне Андреевне через несколько дней должно было исполниться 76, а он старше ее на пять лет. Старенький на вид господин, когда-то чуть ли не первый в Петербурге богач и известный покровитель искусств, пережил Анну Андреевну на три с лишним года. Отношения с ним — один из тех сюжетов ее «богатой личной жизни», который Анна Андреевна не посчитала нужным с кем-либо обсуждать, даже полвека спустя. Правда, Зубов упомянут в ее «донжуанском списке», который она в 1925 продиктовала Лукницкому, но когда Павел Николаевич спросил ее, верен ли ходящий по Питеру слух, что именно Зубову посвящены «Четки», Анна Андреевна от прямого ответа уклонилась. Сказала только, что, когда складывался этот сборник, она с Валентином Платоновичем была едва знакома. Так это или не так — осталось «тайной тайн». Единственное достоверно посвященное Зубову стихотворение при жизни Ахматовой не публиковалось и авторской даты не имеет.

Но самым главным итогом ее зарубежных успехов была удивительная по тем медленным временам быстрота, с какой прошел сквозь рогатки цензуры и производственные препоны ее последний и самый объемный прижизненный сборник, к тому же очень красивый, с портретом работы Модильяни на белоснежной суперобложке, — «Бег времени». 8 мая 1965 рукопись сдали в набор, а в октябре Ахматова уже подписывала элегантные томики своим друзьям! А через месяц ее свалил четвертый инфаркт. Даже самые опытные врачи не верили, что Анна Андреевна поднимется. Но она поднялась. 27 февраля Ахматову выписали из больницы с направлением в лучший, 4-го Главного (правительственного) управления кардиологический санаторий под Домодедовом. Там она и скончалась 5 марта 1966. В самый счастливый в ее жизни день — в день смерти Сталина.

Отпевали «Анну Всея Руси» в Никольском Морском соборе Ленинграда, все-таки она была из семьи моряков, а похоронили там, где нашла последний уют ее «плодоносная осень» — на Комаровском кладбище.